

СЕРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

David Runciman

The Confidence Trap

A History of Democracy

in Crisis from World War I

to the Present

Дэвид Рансимен
Ловушка
уверенности
*История кризиса демократии
от Первой мировой войны
до наших дней*

Перевод с английского
Дмитрия Кралечкина
под научной редакцией
Андрея Олейникова

Издательский дом
Высшей школы экономики
Москва, 2019

УДК 321.7

ББК 66.6

P22

ПРОЕКТ СЕРИЙНЫХ МОНОГРАФИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

Руководитель проекта АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Рансимен, Д.

P22 Ловушка уверенности. История кризиса демократии от Первой мировой войны до наших дней [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова; Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 400 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1528-0 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1852-6 (e-book).

В книге представлена история современной демократии в ее кризисных моментах — от Первой мировой войны до экономического краха 2008 г. Рассматривается, как демократия смогла пережить ряд серьезных угроз, среди которых Великая депрессия, Карибский кризис, Уотергейт и падение банка Lehman Brothers. Особое внимание уделяется политикам и мыслителям, которым пришлось иметь дело с этими кризисами: Вудро Вильсону, Джавахарлалу Неру, Конраду Аденауэру, Фрэнсису Фукуяме и Барраку Обаме.

Книга адресована историкам, политологам, экономистам, а также широкому кругу читателей.

УДК 321.7

ББК 66.6

В оформлении обложки использована фотография Мелвила
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iphone6S_X-RAY.jpg>
(melvil / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0)

Перевод выполнен по изданию: *David Runciman. The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present*

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
<<http://id.hse.ru>>

doi: 10.17323/978-5-7598-1528-0

ISBN 978-5-7598-1528-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1852-6 (e-book)
ISBN 978-0-691-14868-7 (англ.)

© 2013 by David Runciman.
First published by Princeton
University Press, 2013
© Перевод на рус. яз.
Издательский дом Высшей
школы экономики, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 11
Примечание о терминологии 22
ВВЕДЕНИЕ. ТОКВИЛЬ: ДЕМОКРАТИЯ В КРИЗИСЕ 25
Конкурирующие взгляды 28
Демократия и судьба 36
Демократия и кризис 45
Путеводитель по будущему 55
ГЛАВА I. 1918: ЛОЖНЫЙ РАССВЕТ 61
Кризис 61
Автократия против демократии 64
Две речи 70
Поворот на 180 градусов 79
Выборы 86
Итоги 93
ГЛАВА II. 1933: САМ СТРАХ 105
Кризис 105
Соперники 108
Сезон конференций 119
Срыв 129
Итоги 136
ГЛАВА III. 1947: НОВАЯ ПОПЫТКА 144
Кризис 144
Неопределенная победа 148
Изобретение «холодной войны» 153
Чего же захочет уважающая себя демократия? 160
Вид с горы 163
Итоги 172

ГЛАВА IV. 1962: НА ГРАНИ180
Кризис.180
Умеют ли демократии блефовать?183
Старик и скандал199
Итоги211
ГЛАВА V. 1974: КРИЗИС УВЕРЕННОСТИ221
Кризис.221
Война и разрядка226
Нефть и инфляция236
Смена режима244
Итоги256
ГЛАВА VI. 1989: КОНЕЦ ИСТОРИИ264
Кризис.264
Пророки267
Посторонние.282
Итоги296
ГЛАВА VII. 2008: НАЗАД В БУДУЩЕЕ305
Кризис.305
Расплата311
Искупитель321
Итоги329
ЭПИЛОГ. ЛОВУШКА УВЕРЕННОСТИ.337
Далекое и близкое337
Четыре вызова350
Ловушка уверенности371
Благодарности374
Примечание об источниках376
Источники379

Посвящается Би

Сложность политической жизни в том,
что она либо слишком затягивает, либо
слишком пресна.

Альберт Хиршман

О разочаровании, 1982

Пробуй снова. Провались снова.
Провались лучше.

Сэмюэл Беккет

Worstward Ho!, 1983

Предисловие

ОТ ТОМ, что случилось с демократией за последние 100 лет, можно рассказать две истории. Одна — вполне очевидная история успеха. Демократические режимы показали, что они выигрывают войны, восстанавливаются после экономических кризисов, справляются с экологическими проблемами и регулярно добиваются лучших результатов, чем их соперники, которых они в итоге переживают. В начале XX в. было всего несколько демократических стран (по тем подсчетам, где в качестве критерия используется всеобщее избирательное право, не было ни одной). Теперь их очень много (по оценкам Freedom House около 120). Конечно, поступательное развитие демократии в этот период не было абсолютно гладким и непрерывным. Оно было хаотичным и эпизодическим: если следовать знаменитой метафоре Сэмюэля Хантингтона, оно шло «волнами». Тем не менее, несмотря на временные спады и подъемы, вряд ли остались сомнения в том, что к концу прошлого столетия демократия пришла в целом победительницей, так что можно даже повторить то, что Фрэнсис Фукуяма сказал более двух десятилетий назад: либеральная демократия стала единственным убедительным ответом на фундаментальные проблемы человеческой истории.

Но наряду с этой историей успеха о демократии можно рассказать и другую историю — историю пессимизма и страха. Какими бы успешными демократические страны ни были на практике, каких бы результатов по прошествии лет они ни добились, в них всегда было полно людей, боявшихся, что скоро все развалится, что система в кризисе и что соперники ждут не дождутся, чтобы нанести удар. Поступательное движение демократии сопровождалось барабанным боем интеллектуальной тревоги. Возможно, все хорошие новости просто слишком хороши, чтобы быть правдой. Возможно, в конце концов демократии все же перестанет везти. Политическая история демократии — это история успеха. Но с ней очень трудно согласовать ее интеллектуальную историю. Последняя озабочена возможностями провала демократии.

Вы можете заметить, что оба этих взгляда на демократию присутствуют и в современном мире. Оптимизма по-прежнему немало. Свержение автократических режимов в Тунисе, Египте и Ливии, стремление людей в этом регионе к реформам — все это несложно встроить в нарратив «конца истории». На это может уйти какое-то время, и это может быть не слишком приятным процессом, но демократия все равно проникает в те области, которые ранее вроде бы ей противились. Это относится не только к арабскому миру. Демократическое правление формируется в большинстве стран Латинской Америки. Оно пускает корни и в некоторых частях Африки южнее Сахары. Есть проблески надежды даже в тех режимах, которые ранее были заморожены, например в Бирме.

Но в то же время мы замечаем повсеместное уныние. На каждый успех можно найти равнозначное поражение: в России, Зимбабве и Таиланде¹. В какой-то мере уныние

¹ Некоторым комментаторам этих поражений достаточно, чтобы сложить рассказ об упадке демократии в противовес рассказу о «конце истории». См., например: [Kurlantzick, 2013].

это распространяют комментаторы, предупреждающие о том, что события в Северной Африке и на Ближнем Востоке на самом деле не то, чем кажутся. Падение авторитарного режима под натиском народных протестов не обязательно предвещает пришествие демократии — порой оно означает всего лишь приход очередной авторитарии или же начало гражданской войны. Но здесь есть и другой повод для тревоги, связанный с недавними успехами основных демократических стран, где демократия давно утвердилась. Ведь хотя верно, что последнее столетие выдалось для них неплохим, этого нельзя сказать о последнем его десятилетии. Многие ведущие демократические страны приняли участие в долгих и сложных войнах (в Ираке и Афганистане), в которых они, вероятно, не знают, как победить, и из которых не могут выйти, не потеряв лица. Большинство западных демократий набрали долгов, что отчасти связано с этими войнами, но также с глобальным финансовым кризисом, которому они в изрядной мере способствовали. В Европе некоторые из этих стран приблизились к дефолту, и есть опасения, что и США идут той же дорогой. Ни одна демократия не смогла по-настоящему разобраться в том, что делать с изменением климата и делать ли что-то вообще. Кроме того, все эти демократические страны наблюдали — одновременно с ужасом и смирением — за подъемом Китая, который кажется неотвратимым. Таковы четыре фундаментальных вызова, с которыми может столкнуться любая система правления: война, государственные финансы, экологическая угроза и наличие вероятного конкурента. И не ясно, насколько хорошо авторитетные демократии справляются с той или иной из этих проблем.

Так что возникает своего рода загадка. История показывает, что демократии могут справиться с любыми напастями. Но теперь даже самым успешным демократиям с большим трудом удается справляться со своими пробле-

мами. Кажется, что дела обстоят из рук вон плохо, но при этом история демократии учит, что не всё так плохо, как кажется. Вот почему нам так сложно понять, насколько серьезно нужно относиться к сегодняшнему кризису демократии. Мы даже не можем быть уверены в том, что это вообще кризис. Так есть у нас проблемы или нет? Эта книга о том, как нам следует относиться к этому вопросу. Я полагаю, что проблемы у нас есть, но не по тем причинам, которые обычно приводятся. Реальная проблема в том, что демократия попала в ловушку собственного успеха.

Когда начинаешь думать о перспективах демократии, неизбежно возникает желание, как это часто бывает в политике, занять ту или другую сторону. Кажется, что мы имеем дело с вопросами в стиле «или-или». К каким новостям нам следует прислушиваться — плохим или хорошим? Прав был Фукуяма или же ошибался? Близок ли конец Америки или же, наоборот, пессимисты будут посрамлены и на сей раз, как это всегда бывало в прошлом? Действительно ли демократией восхищены там, где ранее ничего подобного не наблюдалось, а там, где она какое-то время существовала, от нее устали? Если вы оптимист, долгосрочные выгоды демократии перевешивают краткосрочные сбои в ее работе. Но если вы пессимист, то наблюдаемые проблемы опровергают эту долгосрочную историю успеха. Многое зависит от того, что считать «долгим сроком». Плохое десятилетие — всего лишь небольшое отклонение на фоне хорошего столетия. Однако 100 хороших лет — всего лишь отклонение на фоне 2000 лет — если считать с Древней Греции и до середины XIX в., — когда демократию не принимали всерьез, считая ее плохой системой. Критики демократии на протяжении всего этого периода говорили, что демократия в итоге все равно развалится из-за своей любви к кредитам и быстрым результатам, а также склонности ввязываться во внезапные и глупые войны.

В этой книге я хочу показать, как эти две истории демократии совмещаются друг с другом. Вопрос не в том, чтобы выбрать одну из них. Как и не в том, чтобы расщепить проблему на ряд более мелких, чтобы говорить уже не о демократии в целом, а только об отдельных демократиях в конкретные времена и в конкретных местах, демократиях успешных и неудачных. Я все-таки хочу говорить о демократии вообще. Ошибка — думать, что новости о демократии должны быть либо хорошими, либо плохими. Когда речь идет о демократии, хорошие и плохие новости подпитывают друг друга. Успех и провал идут рука об руку. Это и есть ситуация демократии. Она означает, что триумф демократии — это не иллюзия, но и не панацея. Это ловушка.

Факторы, которые позволяют демократиям добиваться со временем успеха, — гибкость, изменчивость, быстрая реакция, свойственная демократическим обществам, — все они в то же время сбивают их с толка. Они порождают импульсивность, недалекость, историческую близорукость. У успешных демократий есть слепые пятна, толкающие их к катастрофе. Вы не можете воспользоваться выгодами демократического прогресса, не пострадав в то же время от негативных последствий демократического самотека. Успехи демократии за последние 100 лет не привели к созданию более зрелых, прозорливых и понимающих самих себя демократических обществ. Демократия одержала победу, но не смогла повзрослеть. Достаточно просто оглянуться вокруг. Демократическая политика осталась такой же инфантильной и порывистой, как и всегда: мы выясняем отношения, ноем, отчаиваемся. В том положении, в котором мы очутились, это одна из вещей, которые особенно сбивают с толку. Все накопленные нами исторические свидетельства о преимуществах демократии, похоже, не сделали нас умнее в том, как, собственно, использовать

эти преимущества. Напротив, мы продолжаем совершать одни и те же ошибки.

В этой книге я рассматриваю отдельные критические моменты в истории современной демократии и пытаюсь показать, почему мы совершаем одни и те же ошибки, даже если продолжаем двигаться вперед. Кризисы часто воспринимаются в качестве моментов истины, когда мы наконец-то начинаем понимать, что же по-настоящему важно. Однако демократические кризисы другие. Это моменты предельной путаницы и неопределенности. Не видно ничего. Преимущества демократии не становятся яснее; они остаются перемешанными с ее недостатками. Демократии бредут от одного кризиса к другому, нащупывая свой путь впотьмах.

Однако именно эта способность выбираться кое-как из кризисов дает демократии преимущество перед ее автократическими соперниками. Демократии переживают кризисы с бóльшим успехом, чем любая альтернативная система, поскольку они могут приспособливаться. Они не перестают искать решения, даже если продолжают совершать ошибки. Однако избегать кризисов демократии умеют ничуть не лучше своих соперников, они не превосходят автократии в умении учиться у конкурентных систем. Возможно и то, что определенные типы автократических режимов усваивают уроки быстрее, особенно когда требуется избежать ошибок прошлого. (Автократии обычно ошибаются в своем предположении, будто будущее будет похожим на настоящее.) Пережив кризис, демократические общества становятся самоуверенными, а не мудрыми: демократии усваивают лишь то, что они могут пережить собственные ошибки. Однако это может привести к их краху, если они совершат слишком много ошибок. Мы еще не достигли конца истории. Но не потому что Фукуяма ошибался, а по ряду причин, подтверждающих его правоту.

Мысль о том, что успех и неудача идут рука об руку, относится не только к демократии. Это характеристика человеческого бытия в целом. Это сущность трагедии. Гордыня может сопутствовать любому виду человеческих достижений. Самые одаренные люди часто переоценивают себя. Большие знания не являются залогом самопознания: умные люди совершают ужасные глупости. То, что относится к отдельным людям, относится также и к политическим системам. Империи также переоценивают себя. Успешные государства наглеют, упиваясь своими успехами, и становятся самодовольными, когда полагаются на прошлые заслуги, которые должны указать им выход из сегодняшних затруднений. Великие державы приходят в упадок и разваливаются.

Однако трудности демократии невозможно свести к обычной человеческой трагедии, они не составляют часть великого цикла политического упадка и распада. Демократии страдают от гордыни особого рода. В Древнем Риме за вождями-триумфаторами, входящими в город, шли рабы, которые шептали им на ухо, что они тоже смертны. Демократии ничего подобного своим героям не шепчут, потому что им это не нужно. Успешным демократическим политикам и так постоянно напоминают об их смертности. Им вообще трудно от нее отвлечься: в демократии чаще можно стать предметом поругания, чем поклонения. Ни один демократический политик не может пробиться наверх, не привыкнув к улюлюканью толпы. Вот почему в демократии нет такого человека, для которого провал оказался бы неожиданным. Когда демократические политики становятся самодовольными, это происходит потому, что они привыкают к шепоту, который говорит им об их смертности, а не потому, что они отгораживаются от него. Автократы — вот кого события застают врасплох.

Образец современного автократа, столкнувшегося с улюлюканьем толпы, явил собой Николае Чаушеску,

вышедший на балкон здания Центрального комитета в Бухаресте 23 декабря 1989 г., за три дня до того, как его вместе с женой казнила расстрельная команда. Он выглядел по-настоящему озадаченным: что это за шум такой? Ни один демократический политик не может показаться настолько удивленным. Облик демократического самодовольства совершенно иной. Его являет, к примеру, лицо политиков, занимавших определенный пост и потерявших его в день выборов (можно вспомнить о Джордже Буше-старшем в 1992 г.). Они выглядят не удивленными, а уязвленными. Кажется, что они говорят: «Да, я слышал, что вы меня постоянно ругали. Как я мог этого не слышать? Я же читаю газеты. Но это и есть демократия. Я не понял, что вы говорили всерьез». Такой облик — одна из причин того, почему демократическая жизнь чаще оказывается комической, чем трагической.

То, что относится к отдельным политикам, применимо также и к демократическим обществам. Современную Америку порой сравнивают с императорским Римом, поскольку у нее есть некоторые внешние признаки империи, лучшие дни которой уже позади. Однако США — это не Рим, поскольку, будучи империей, они представляют собой еще действующую современную демократию. Из-за этого они слишком безрассудны, нетерпеливы, сварливы и самокритичны, чтобы претендовать на позднимперский декаданс. Демократии едва ли могут забыть о нависшей угрозе катастрофы. Скорее, они излишне чувствительны к ней. Один из отличительных признаков современной американской демократии — она постоянно задается вопросами о своих перспективах выживания. Проблема таких демократий не в том, что они не слышат шепота, говорящего им об их смертности. Она в том, что они слышат его так часто, что не могут понять, когда принимать его всерьез.

В успешных демократиях много институциональных барьеров, препятствующих гордыне индивидов. При автократии же всегда есть опасность, что безумный или охваченный манией величия лидер подведет страну к краю пропасти. В демократии безумному лидеру или безумной идее закрепиться намного сложнее. Демократии, прежде чем подойти к пропасти, могут прогнать безумных лидеров путем выборов. Регулярные выборы, свободная пресса, независимая судебная система и профессиональная бюрократия — все это не позволяет худшим видам личных заблуждений утянуть за собой все общество. В долгосрочной перспективе ошибки в стабильной демократии оказываются некатастрофичными, поскольку они просто не закрепляются. Но это не мешает демократиям совершать ошибки; скорее это даже подстрекает их к ним. Демократия утешается знанием, что зло не задержится надолго; но это не дает ответа на вопрос, что делать в кризис. Кроме того, такое утешение может само привести к благодущию. Знание о том, что мы защищены от худших последствий гордыни, может порождать в демократиях беспечность (разве может вообще случиться что-то по-настоящему плохое?), а также медлительность — почему бы не подождать, пока система не скорректирует сама себя? Вот почему кризисы не прекращаются.

Первым, кто выявил особенность демократической гордыни, указав на ее связь с динамизмом демократических обществ и инерцией, сопровождающей их способность к приспособлению, был Токвиль. С него начинается история, которую я хочу рассказать здесь. С тех пор, как почти 200 лет назад Токвиль написал свою книгу, люди постоянно спорят о том, кем он был в своих рассуждениях о демократии — оптимистом или пессимистом. Дело в том, что он одновременно был и тем и другим. Причины для демократического оптимизма у Токвиля выступали в то же время главным источником его беспокойства

за демократию. Именно это сделало его столь оригинальным мыслителем в свое время, и именно это определяет его важность для нас. Он не разделял ни опасений традиционных критиков демократии, ни надежд ее тогдашних сторонников. В введении я объясняю, чем примечателен подход Токвиля и почему он выступает важнейшим ориентиром, позволяющим разобраться в том, как связаны между собой демократия и кризис.

Затем я рассматриваю ряд кризисов демократии, которые случились за последние 100 лет, чтобы изучить, как работоспособные демократии справляются с кризисами, и понять, чему они на них учатся. Я решил изучить семь критических лет, более или менее равномерно распределенных по этому периоду: 1918, 1933, 1947, 1962, 1974, 1989, 2008 гг. Этот список не претендует на исчерпывающий характер. У современной демократии были и другие критические точки: 1940, 1969 и 2001 гг. Также было немало лет, которые в те времена казались кризисными, но потом выветрились из памяти. Это один из отличительных признаков демократической жизни, подмеченных Токвилем: она проходит в едва ли не постоянном состоянии кризиса, а потому в ней так сложно понять, когда кризис надо принимать всерьез. Выбранные мной кризисы в какой-то мере отражают эту неопределенность и предвещают ту, что мы ощущаем сегодня. Вот почему я, к примеру, не пишу о 1940-м годе, который для современной демократии был, возможно, наиболее суровым кризисом, когда под угрозой оказалось само ее существование, когда проблема заключалась не в неопределенности, а в недвусмысленной опасности уничтожения. Годы 1968 и 2001 — каждый по-своему — тоже были годами однозначных решений. Изучаемые мной кризисы составляют цепочку, в которой вырисовываются определенные закономерности. Это история неопределенных страхов, упущенных возможностей и нечаянных триумфов. Это повесть о случайности и сумятице.

Тем не менее, несмотря на всю эту неопределенность, каждый кризис, о котором я пишу, был настоящим. Все это были важные моменты, когда на кону стояло очень многое. Изучая, как устоявшиеся демократии справились с этими кризисами, я ищу параллели с Токвилем и связь с настоящим. Моя цель в том, чтобы понять, как мы дошли до нашего состояния. Затем в последней главе я говорю о том, куда мы, возможно, движемся. Я не предлагаю никаких простых решений, позволяющих выйти из нашего теперешнего положения. Мы попали в ловушку. Если бы из нее был простой выход, это не была бы ловушка. Но для того чтобы понять, что, возможно, уготовано нам в будущем, очень важно выяснить, как мы в эту ловушку попали.

Два последних замечания. Эта книга посвящена тому, как устоявшиеся демократии справляются с кризисами. В ней не обсуждается то, как общества становятся демократическими, или же то, что происходит, когда демократии возвращаются обратно к автократии. Существует немало работ, посвященных так называемому демократическому переходу, и политологи заметно продвинулись в понимании того, как он происходит. Мне же интересно, что происходит с обществами, которые завершили переход к демократии, но при этом все равно попадают в кризисные ситуации. По этой причине основное внимание в моей книге уделяется США и Западной Европе, особенно в обсуждении первых кризисов, выбранных мной. В первой половине XX в. существовало слишком мало стабильных демократий. По мере распространения демократии расширяются и границы рассказываемой мной истории, включая стабильные демократии в других частях света, в том числе в Индии, Израиле и Японии. Тем не менее в центре внимания все равно остаются США. Именно изучая Америку, Токвиль первоначально выявил двусмысленный характер демократического прогресса. США оста-

ются тем местом, где увидеть его проще, чем где-либо еще. Я, как и Токвиль, не имею в виду, что Америка — это и есть демократия, и не говорю, что демократия может строиться только по американскому образцу. Однако если американский образец придет в негодность в силу собственного успеха, это будет означать очень многое и для всех остальных демократических стран.

Эта книга сочетает в себе политическую и интеллектуальную историю. Меня интересует то, как демократическим обществам удалось справиться с кризисами и что писали и говорили о кризисах, когда они, собственно, случались. Мнения имеют значение: то, что люди думают о силах и слабостях демократии, в некоторой степени определяет успехи демократии на практике. Например, если все придерживаются в целом мнения, что демократии склонны к панике, во время кризиса могут приниматься стратегии, которые будут отличаться от тех, что принимаются при всеобщей вере в то, что демократии собраны из рациональных агентов. Данная книга не является трудом по политологии. Однако последняя дает основания для некоторых мнений о демократии, встречающихся у людей, и она играет важную роль в истории, которую я хочу рассказать. О том, как демократии добиваются успеха и почему, мы знаем сегодня намного больше прежнего. Проблема в том, что мы не знаем, что нам делать с этим знанием.

ПРИМЕЧАНИЕ О ТЕРМИНОЛОГИИ

В этой книге я использую базовое различие между «демократией» и «автократией», следуя общепринятым представлениям. Под демократией я понимаю любое общество с регулярными выборами, относительно свободной прессой и открытой конкуренцией за власть. Такие общества часто именуются «либеральными демократиями», хотя одни из них либеральнее других. Под автократией

тием я имею в виду любое общество, в котором руководители не выходят на открытые выборы и где свободное движение информации подлежит политическому контролю. Строго говоря, автократия означает самостоятельное правление одного-единственного человека, хотя в некоторых случаях правящие индивиды составляют небольшую клику обладателей власти (например, греческая военная хунта 1964–1974 гг., известная также как «режим полковников», характеризуется политологами, проводящими общие сравнения между демократиями и антидемократиями, как автократия). Некоторые автократии являются диктатурами, но не все. Некоторые авторитарнее других. Там, где это необходимо, я все эти различия уточняю.

Современная политология обычно изображает переход от автократии к демократии в виде континуума с обширной срединной зоной, где некоторые ключевые различия смазываются (например, в случае авторитарных государств, в которых регулярно проходят выборы). Такие «гибридные» режимы я обсуждаю в последней главе. В целом, однако, я придерживаюсь базового противопоставления демократии и автократии и основных различий между ними. Это согласуется с мнением большинства рассматриваемых авторов, начиная с Токвиля, использовавшего «демократию» в качестве всеобщего понятия. Впрочем, у Токвиля главное противопоставление — между «демократическими» обществами и «аристократическими», т.е. между обществами, в которых утвердился принцип равенства, и теми, где он, наоборот, не утвердился. Некоторые следствия этого противопоставления я обсуждаю в следующих разделах.

Но в других отношениях у Токвиля очень часто неясно, что он имеет в виду под демократией. Он использовал этот термин то в одном смысле, то в другом, иногда для обозначения способа ведения политики, иногда для комплекса политических и моральных принципов, а

в иногда и для формы совместной жизни. Я не собирался вслед за ним сохранять эту неопределенность, но попытался сделать этот термин открытым и гибким. Отличительным признаком современной идеи демократии является ее адаптивность. Она может сочетаться с политикой в разных ее формах — как иерархических, так и инклюзивных; она может идентифицироваться как с лидерами, так и с самими гражданами; она может сочетать эгалитаризм с многочисленными формами неравенства. В этой книге я отношусь к демократии как некоей узнаваемой сущности. Но порой я использую это слово в отношении отдельных политических деятелей (таких, как Франклин Делано Рузвельт или Джавахарлал Неру), в других случаях — институтов (выборов, свободной прессы), наконец, в-третьих — общего умонастроения (нетерпеливости, рассеянности). При этом я надеюсь, что везде будет ясно, о чем идет речь.

Введение

Токвиль: Демократия в кризисе

КОГДА в мае 1831 г. молодой французский аристократ Алексис де Токвиль прибыл в Америку, его не слишком впечатлило то, что он там обнаружил. Главной целью его путешествия было написание книги о тюремной системе этой страны, но также он хотел увидеть собственными глазами, на что похожа демократия в действии.

Токвиль сошел с судна в Нью-Йорке, и как это часто случалось с теми, кто посещал Америку впервые, почувствовал себя совершенно ошеломленным и дезориентированным. Там было слишком много всего. Никто не останавливался, чтобы подумать о том, что он делает. Никто ни за что не отвечал. Вскоре он написал своим французским друзьям о том, что подвижность американской жизни приводит его в подлинное изумление: «Здесь замечаешь полное отсутствие какого-либо духа непрерывности и долговечности» [Tocqueville, 1985, p. 56]. Американцы, с которыми он встречался, были достаточно дружелюбны, но они поражали его своей беззаботностью и нетерпеливостью. Его чрезвычайно удивила та легкость, с которой они меняли свои дома, места работы, свое положение. Его также оттолкнула хаотичность американской политики, в которой, похоже, отражалась эта неугомон-

ность. Казалось, что у выборных политиков Америки не больше понимания цели движения, чем у избирателей. Подобно большинству людей своего класса и своего поколения Токвиль был немного снобом. То, что он обнаружил в Америке, согласовывалось с его инстинктивным недоверием к демократии. В ее бездумной энергии было нечто детское. Где же дисциплина? Где достоинство? Если это и была демократия в действии, он не понимал, как она могла работать.

Токвиль, однако, был необычным снобом: у него была способность менять свои убеждения. Когда он покинул Нью-Йорк и отправился в путешествие по стране, то постепенно начал ощущать, что его первые впечатления были ошибочными. Американская демократия работала. В ней таилась устойчивость и долговечность, заметить которую в повседневных делах было невозможно. У демократического способа жизни были свои сильные стороны, но требовалось терпение, чтобы обнаружить их. В первой книге «Демократии в Америке», опубликованной в 1835 г., Токвиль писал: «Ее недостатки поражают с первого взгляда, а достоинства открываются лишь со временем» [Токвиль, 1992, с. 184]. Ключ к пониманию американской демократии заключался в том, чтобы научиться не принимать ее за чистую монету. Она работала, несмотря на то, что выглядела так, будто не должна работать. Ее преимущества скрывались где-то под поверхностью и проявлялись только со временем.

Это была самая важная вещь, открытая Токвилем в путешествиях: демократия не так плоха, как кажется. Этим определяется его ключевая идея, позволяющая понять современную политику, — и в некотором смысле это вообще самая важная идея современной политики. В любой устойчивой демократии всегда будет разрыв между тем, что вроде бы происходит, и тем, что это значит в долгосрочной перспективе. Демократия кажется простодушной формой

политики, ведь все в ней такое сырое и доступное. Однако долгосрочные преимущества демократии проявляются не сразу. Их невозможно схватить прямо сейчас. Им, чтобы проявиться, требуется определенное время.

До Токвиля никто демократию в таком свете не рассматривал¹. В этом и было его открытие. Продумывая выводы из него, он выяснил, что многие из них наводят на серьезные размышления. Он почувствовал, что скрытые сильные стороны демократии представляют также ее наиболее серьезную слабость, именно потому, что они скрыты. Когда они вам нужны, вы не можете воспользоваться ими. Если попытаться, зачастую все становится только хуже. Однако если отказаться использовать их, демократии могут скатиться к пассивности и самотеку. Демократии попались в ловушку собственного стремления ускорить ход событий и своего инстинкта, заставляющего выжидать. И между двумя этими умонастроениями не бывает равновесия.

¹ Конечно, в 1830-х годах многие другие французские наблюдатели тоже интересовались американской демократией и тем, что она значила для перспектив демократии в Европе. В этом смысле Токвиль принимал участие в широкой дискуссии. Некоторые французские комментаторы считали, что американская демократия была оклеветана и что у нее есть добродетели, которым могла бы поучиться Франция. Другие же полагали, что ее, внешне заметные, сильные стороны опровергались глубоко укорененными недостатками, прежде всего, сохранявшимся рабством. В этих спорах, как и в похожих спорах в Британии, их участники обычно занимали ту или другую сторону: американская демократия признавалась либо чем-то хорошим, либо чем-то дурным. Уникальной в позиции Токвиля была его способность видеть обе стороны сразу; он предложил свежий взгляд на то, как в американской демократии хорошее сочетается с плохим. О конкурирующих взглядах на Америку в период, когда Токвиль писал «Демократию в Америке», см.: [Craigutu, Jennings, 2004]. Об интеллектуальных истоках идей самого Токвиля см.: [Jaume, 2013]. О конкурирующих британских позициях по вопросу США в период перед гражданской войной см.: [Foreman, 2010].

Именно это рассуждение делает Токвиля таким оригинальным и важным мыслителем. Он лучше других помогает разобраться в характере демократии. В этом разделе я надеюсь показать, почему это так.

КОНКУРИРУЮЩИЕ ВЗГЛЯДЫ

Токвиль, конечно, был не первым гостем США, решившим, что американская демократия не то, чем кажется. Многие путешественники научились не доверять своим первым впечатлениям. Но лишь потому, что обычно они приходили к выводу, будто американцы лицемерны. Распространенная жалоба на американскую демократию состояла в том, что на самом деле она не соответствует своим замечательным принципам: американцы разглагольствовали о достоинстве и свободе, но, по сути, все они были людьми жестокими, вульгарными и алчными. Многие гости из Европы первоначально приходили в немалое воодушевление, познакомившись с непринужденным и эгалитарным этосом: Америка часто казалась им глотком свежего воздуха. Но чем больше они путешествовали, тем больше приходили к выводу, что это просто показуха. В основе своей Америка, как выяснялось, была материалистическим, эксплуататорским обществом, в котором каждый за себя. Хуже того, невозможно было сбросить со счетов тот факт, что апостолы свободы держали рабов, а если и не держали сами, то терпели то, что их держали другие американцы. Из-за рабства американская демократия представлялась посмешищем.

Десятилетием позже более типичное, чем у Токвиля, путешествие в Америку было предпринято другим молодым европейским писателем, Чарлзом Диккенсом. Диккенс не был снобом, а к демократии испытывал инстинктивную симпатию. Сначала он просто обожал Америку, особенно потому, что американцы, судя по всему,

обожали его. Его приветствовали как человека родственного духа, который в своих романах защищал бедных и угнетенных. (Токвиля тоже чествовали, когда он приехал впервые, но он принял это за признак неосведомленности американцев, поскольку во Франции о нем тогда еще почти никто не знал.) У Диккенса энтузиазма хватило ненадолго. Он продолжал путешествовать и постепенно ему надоело внимание, которое ему уделяли, как и тот факт, что, несмотря на все свои прекрасные чувства, американцы на самом деле не были заинтересованы в том, чтобы жить в соответствии со своими высокими идеалами. Чем больше он знакомился с ними, тем больше обнаруживал у них дурные манеры и самодовольство. Также он понял, что они его обирают, поскольку довольно мягкие американские законы об авторском праве позволяли публиковать его романы в пиратских изданиях. В двух книгах, посвященных своим американским впечатлениям, в «Американских заметках» (1842) и романе «Мартин Чезлвит» (1843–1844), Диккенс дал ясно понять, что почувствовал себя так, словно его предали. Он высмеял лицемерие американцев и раскритиковал их терпимость к рабству.

В интеллектуальном путешествии Токвиля необычно то, что оно пошло в противоположном направлении. Токвиль ненавидел рабство не меньше Диккенса. Но он не сделал вывод о лицемерии американцев. Напротив, он стал думать, что отличительным качеством американской демократии является ее искренность. Один из главных эпизодов в его путешествии произошел 4 июля, когда он со своим попутчиком Гюставом Бомоном прибыл в Олбани, новую столицу штата Нью-Йорк, где они приняли участие в праздновании Дня независимости. Токвиль считал церемонию довольно смешной — со всеми ее марширующими оркестрами и торжественными речами. Зрелище этого провинциального самодовольства изрядно на-

смешило его. Но когда вечером начались публичные чтения Декларации независимости, он к своему удивлению заметил, что это его глубоко тронуло. «Словно бы через каждого присутствующего пробежала электрическая искра. Это было совсем не похоже на театральное представление... Там было нечто по-настоящему прочувствованное и поистине великое» (цит. по: [Jardin, 1989, p. 118]). Демократия в Америке не была фикцией. Скорее, это была подлинная религия.

Вера была главным звеном американской демократии. Система работала, поскольку, как решил Токвиль, люди в нее верили. Они верили в нее, несмотря на то, что она выглядела так, словно не должна работать; временами она казалась полной неразберихой. Демократия была спонтанной формой политики, бессистемной, нескоординированной, порой смешной, но все же почему-то не сбивавшейся с пути. Американцы худо-бедно решали свои проблемы, сохраняя веру в будущее. Но это была не слепая вера. Время показало, что американская демократия приносит плоды и что беспорядочность демократической жизни обладает кумулятивной силой, с которой не может сравниться ни одна соперничающая с ней система. Токвиль писал, что у демократии «каждая вещь в отдельности получается <...> хуже, но в целом она делает значительно больше». Далее он продолжает:

Демократия — это не самая искусная форма правления, но только она подчас может вызвать в обществе бурное движение, придать ему энергию и исполинские силы, неизвестные при других формах правления. И эти движения, энергия и силы... способны творить чудеса. Это и есть истинные преимущества демократии [Токвиль, 1992, с. 192].

Наполовину мистический язык используется здесь неспроста. По словам Токвиля, в том, как работает демократия, есть нечто «неразумное» или «темное». Но он не

имел в виду, что демократия порочна или же представляет собой форму обмана. Он просто хотел сказать, что она не совсем прозрачна. В любой данный момент времени вы не смогли бы понять, как она работает. Но вы можете быть уверены в том, что она и в самом деле работает.

Токвиль пришел к мнению, что у американской демократии есть скрытая глубина. И именно это радикально отличает его от других европейских путешественников, которые заиклились на расхождении между обещанием американской демократии и неприглядной реальностью. Но это же выделяло его на фоне 2000-летней европейской политической философии. Традиционная претензия к демократии всегда заключалась в том, что она скрывает собственную пустоту. По мнению философов, под поверхностью демократической жизни скрывается не устойчивость и долговечность, а невежество и глупость. Такое обвинение не ограничивается лицемерием. Демократиям нельзя доверять, поскольку, по сути, они не понимают, что делают.

Платон задал образец этой аргументации, что позволяет объяснить, почему она так долго господствовала в западном политическом воображении. В «Государстве» Платон говорит, что демократия — самый привлекательный из политических режимов, поскольку она «словно ткань, испещренная всеми цветами» [Платон, 1994, с. 344]. Однако эта красочная видимость лишь вводит в заблуждение. У демократии красивый фасад, но гнилое нутро. Другими словами, демократия намного хуже, чем кажется. Демократии хорошо подают себя, но в их тени всегда скрывалось нечто неприятное, а именно сами люди, со всей их жадностью и глупостью.

Проблема в том, что демократия потворствовала желаниям. Она давала людям то, что они хотят изо дня в день, не старалась убедить их желать правильных вещей. У нее не было способности к мудрости, к сложным реше-

ниям или к трудным истинам. Демократии были основаны на лести и лжи. Демократические политики внушали людям то, во что те хотели верить, а не то, что они должны были услышать. По словам Платона, они брали их слабости и рядили их в добродетели. Если люди были плохо дисциплинированы, политики говорили им, что они смелые. Если они были расточительны, политики говорили, что они щедрые. Какое-то время это может работать, как часто бывает с лестью. Но в долгосрочной перспективе это грозит катастрофой, потому что невозможно вечно прятаться от своих слабостей. Через какое-то время что-нибудь да случится, и они предстанут во всей красе. И тогда демократиям придется понять, в чем их истина. Но к тому времени будет слишком поздно. Когда истина настигает демократию, обычно она ее уничтожает.

За два тысячелетия в европейской политической мысли накопилось бесчисленное множество вариаций на эту тему. Демократии считались переменчивыми, слишком доверчивыми, бесстыдными, говорили, что им не хватает самоконтроля. Они набирали долгов, потому что не могли сдерживать свои аппетиты. Они вступали в глупые и опасные войны, поскольку не могли управлять своими страстями. Они влюблялись в новоявленных тиранов, поскольку не могли справиться со своими трусливыми инстинктами. Самое главное, демократия была формой политики, подходящей лишь для хороших времен: во время кризиса она неминуемо разваливается. Она казалась своего рода мошенничеством, не способным вечно откладывать день расплаты. Единственное, что можно было сказать о демократии с уверенностью, так это то, что она не будет длиться вечно. А если вам встретилась демократия, которая существует давно, вы можете быть уверены в том, что на самом деле это не демократия. Такова оборотная сторона стандартной критики: подлинные демократии не могли быть успешными государствами, следова-

тельно, успешные демократии не могли быть подлинными демократиями. Где-то в них наверняка скрывался автократический центр.

Токвиль решительно порвал с этим образом мысли. Он не сомневался в том, что Америка была подлинной демократией. И он не думал, что американская демократия хуже, чем кажется. Этого не могло быть при ее очевидных недостатках. Именно внешний облик демократии мешал в нее поверить. Платон назвал демократию наиболее привлекательным политическим режимом. Токвиль считал ее наименее привлекательным режимом, совершенно несравнимым с великолепием и блеском аристократического общества, которое-то как раз знало, как себя подать. Демократиям не хватало дисциплины и достоинства, необходимых, чтобы произвести хорошее впечатление. Так что, конечно, на определенном уровне можно было сказать, что демократии всегда кажутся бардаком. Но философы ошиблись в том, *какой именно* это уровень. Так вещи выглядели на поверхности. Но в глубине происходило нечто совершенно другое.

Сопоставляя внешние промахи демократии с ее скрытыми преимуществами, Токвиль поставил традиционные аргументы ее критиков с ног на голову. Он не принял аргумент в ее пользу, который чаще всего выдвигали ее радикальные защитники. Их аргументация основывалась на том, что главной добродетелью демократии является ее прозрачность. Получалось, что она добивается успеха, потому что ей нечего скрывать. Демократия казалась единственной системой, которая выставляла напоказ, как она работает. Это означало, что она может исправлять свои промахи. Томас Пейн, великий демократический защитник американской и французской революций, сказал об этом так: «Каковы бы ни были ее достоинства и недостатки, они видны всякому. Она существует не за счет обмана или тайны, дела свои ведет не на жаргоне или язы-

ке софизмов». Пейн подчеркивал, что тайные жаргоны и софистика — всецело на другой стороне. Поэтому именно монархия является надувательством. «То, что монархия является исключительно пузырем, простой выдумкой, нужной, чтоб раздобыть денег, очевидно (по крайней мере мне) при взгляде на любое качество, ей приписываемое» [Paine, 2000, р. 181–182]. Враги демократии — вот кому было, что скрывать.

Пейн считал, что демократия добьется успеха, как только люди поймут, освободившись от предрассудков ее противников, что она такое. Когда это случится, они увидят, как на деле функционирует политика. Более того, они выяснят, что единственная вещь, которая работает, — это демократия. Это означает, что существует своеобразная точка отрыва, или порог, после которого возможна истинная вера в демократию. До него ей будет сложно завоевать доверие людей, поскольку они не смогут оценить ее достоинства. И именно на этом отрезке демократия и застряла на 2000 лет. Но после прохождения порога она будет становиться все сильнее и сильнее, поскольку истина политики будет, наконец, явлена. Пейн, писавший в конце XVIII в., был уверен, что мир подошел к этому порогу. Рождался новый порядок. Для описания происходящего он придумал образ, который с тех пор стал одной из излюбленных метафор всех демократических оптимистов. Он писал: «Несложно заметить, что весна началась»².

² К концу зимы 1791–1792 гг. он писал из своего дома: «Близится середина февраля. Если бы я отправился в деревню, деревья предстали бы в своем безжизненном зимнем виде. Люди, бывает, срывают ветки с них, когда проходят мимо, и так же мог бы поступить и я, и, возможно, заметил, как на этой ветке уже начала набухать какая-нибудь одна-единственная почка. Я бы рассудил совершенно противоестественно или даже вовсе отказался бы рассуждать, если бы предположил, что во всей Англии только эта почка дала о себе знать. Вместо того чтобы прийти к подобному выводу, я должен был бы тотчас заключить, что такие же почки начали по-

Токвиль на это не купился. И не потому, что не был согласен с тем, что демократия на подъеме. С этим он как раз полностью соглашался. Однако вера Пейна в то, что скрытые силы демократии со временем будут все заметнее, представлялась ему всего лишь фантазией. Токвиль не уравнивал демократию с прозрачностью. В работе демократии сохраняется нечто непрозрачное, какой бы успешной она ни была, поскольку движущие силы ее успеха никогда не являют себя в полной мере на хаотической поверхности демократической жизни. Пейн хотел, чтобы демократия вступила в эпоху разума. Но Токвиль знал, что эпоха демократии будет строиться на вере. Урок, вынесенный им из путешествий по Америке, состоит в том, что демократия никогда не проявляется в полной мере. В обществе, основанном на демократических принципах, всегда будет разрыв между восприятием и реальностью.

Кроме того, всегда будет сохраняться сильнейшее искушение попытаться устранить этот разрыв. Жить при подлинной демократии трудно, поскольку слишком многое вы должны принимать на веру. Токвиль отвергал общепринятые аргументы как «за», так и «против» демократии, однако он понимал, в чем их привлекательность. Каждый из них обещал вывести демократию на чистую воду: обнажить либо таящуюся в ней силу, либо — слабость. В расхождении между скрытыми силами и видимыми слабостями демократии есть нечто обескураживающее. Мы хотим знать, какая из двух этих версий истинная, каким бы ни был исход. Мы хотим концовки. Гораздо сложнее жить со знанием о том, что такое расхождение

являться или вот-вот появятся повсюду, и хотя растительный сон у некоторых деревьев и растений продлится дольше, а некоторые из них, возможно, в течение двух-трех лет не будут цвести, летом все будет в листьях, за исключением тех деревьев, что сгнили. Но как политическое лето будет соотноситься с природным, человеческому прозрению неведомо» [Paine, 2000, p. 262–263].

является реальностью демократической жизни. Оно ставит совершенно иные задачи.

Токвиль не думал, что демократия является надувательством. Вы можете действительно в нее верить. В этом смысле он соглашался с тем, что демократия преодолела порог доверия. Его тревоги были связаны с тем, что обнаруживалось на другой стороне, после прохождения этого порога. Он боялся того, что вера в демократию окажется ловушкой.

ДЕМОКРАТИЯ И СУДЬБА

Имя, которое Токвиль дал своим страхам, — «фатализм». Он боялся того, что жители демократической страны будут плыть по течению, «предпочтя безвольно подчиниться своей печальной судьбе, нежели признать необходимым и совершить резкое, энергичное усилие с целью переломить ее ход» [Токвиль, 1992, с. 466]. По его мнению, есть две причины, склоняющие демократии к фатализму. Первой являлись очевидные доказательства того, что история на стороне демократии. Пейн был прав: мир и в самом деле двигался к демократии, а это значит, что Америка была впереди этого движения. Токвиль не считал это философской спекуляцией или проявлением тщеславия американцев, но научным фактом. Он писал, что увидеть в демократии судьбоносный процесс несложно: «Для этого нам достаточно наблюдать за привычными природными процессами и улавливать постоянно действующую тенденцию развития событий» [Там же, с. 29]. Тенденция к формированию того, что Токвиль называл «равенством условий», была неумолимой. Традиционные политические элиты были сметены идеей, согласно которой ни один человек не рожден властвовать над другим. Ничто не могло встать на пути у этой идеи, а это в конечном счете означало, что ничто не может встать на пути демократии.

Таков был план, предначертанный самим провидением. «Желание сдержать развитие демократии, следовательно, представляется борьбой против самого Господа», — писал Токвиль во «Введении» к «Демократии в Америке» [Там же, с. 30].

Вторая причина, по которой демократии часто склонялись к фатализму, заключается в том, что это знание об их привилегированной позиции в общем устройстве бытия требовало взгляда со стороны. В краткосрочной перспективе демократия часто выглядела так, словно бы она двигалась в сторону, противоположную историческому прогрессу, — она представлялась неустойчивой, ненадежной, неэффективной. Вы должны были поверить в будущее. Это значило, что несмотря на сильные стороны демократии, вы не обязательно увидели бы их в той или иной политической ситуации. Жить при демократии значило отдалиться силам, недоступным для вашего непосредственного восприятия. Вряд ли было что-то удивительное в том, что люди, поставленные в такие условия, чувствовали себя немного беспомощными. Их судьба находилась в надежных руках, но было неясно, находится ли она в их руках. В действие вступала некая более значительная сила. Успешная демократия обладала таковой, поэтому люди могли чувствовать себя совершенно незначительными.

Однако демократический фатализм не всегда приводил к пассивности и несостоятельности. Если вы знаете, что история на вашей стороне, но вне вашего прямого контроля, вы можете отреагировать двумя способами. Вы можете пожалть плечами и подождать, пока все само не устроится. Либо вы можете отбросить предосторожность, поскольку вы уверены, что будущее гарантировано независимо от того, что вы делаете. Гениальность Токвиля заключалась еще и в том, что он смог увидеть, как демократический фатализм совмещался не только с безрассуд-

ством, но и с безропотностью. Более того, он понял, что иногда между ними трудно провести различие.

Токвиль привел в пример беседу, которая состоялась у него с некоторыми американскими пароходостроителями. Во время путешествий Токвиль не раз поражался тому, насколько хрупкими и опасными были пароходы. Он и Бомон едва не утонули, когда пароход сел на мель на реке Огайо. «Никогда я не слышал более мерзкого звука, — написал он одному другу спустя несколько дней, — чем этот шум воды, устремившейся в судно» [Jardin, 1989, р. 165]. Эту критическую ситуацию он пережил, не потеряв хладнокровия. Но почему же производители судов не делали их более прочными и надежными? «Они ответили, что в таком случае суда служили бы слишком долго, тогда как искусство пароходной навигации каждый день делает новые шаги». Токвиль думал, что эта вера в прогресс как раз и мешала американцам «стремиться к чему-либо долговечному» (цит. по: [Pierson, 1996, 645]). Зачем прилагать лишние усилия, когда за углом нас ожидает кое-что получше? В то же время пароходостроители не были праздными посторонними, наблюдающими с берега реки за потоком мировых событий. Их спокойное равнодушие совмещалось с кипучей энергией. Они спускали свои плохенькие суда на воду, а значит, шли на серьезные риски. Они плевали на свою судьбу и стремились во что бы то ни стало не упустить возможность подзаработать денег. Фаталисты могут быть нетерпеливыми и терпеливыми, активными и пассивными. Один из способов верить в будущее — поступать так, словно оно уже наступило, и надо лишь схватиться за него.

То, что относилось к судостроителям, было верным и для американской демократии в целом. Токвиль писал, что демократический человек является одновременно «пылким и покорным». Демократии могут кидаться из стороны в сторону. О «Демократии в Америке» иногда спра-

шивают, не представляет ли она собой две разные книги: в первой подчеркивается жизнеспособность и энергия американской демократии, а во второй, опубликованной спустя пять лет в 1840 г., намного более мрачной, — ощущение инерции. Но первая и вторая книги попросту отражают две разные стороны демократического фатализма. В первой книге Токвиль обсуждает опасности «тирании большинства», из-за которой демократии становятся нетерпеливыми и мстительными. Приводимые Токвилем примеры этой тирании в действии — линчевание, расовые бунты, упоение войной, — показывают, что он имел в виду моменты, когда демократии выходят из-под контроля, устав ждать, когда же что-нибудь случится. Во второй книге он говорит о «мягком деспотизме общественного мнения», который, будучи еще коварнее, отвращает людей от критики общепринятых идей. Демократии могут не только разбушеваться, но и впасть в спячку.

Однако у обоих исходов одна и та же причина: имеющееся у жителей демократической страны знание о том, что им принадлежит система, скрывающая в себе определенные преимущества. Оно может быть источником ярости. Если демократия — такая великая идея, почему мы не можем предпринять что-то уже сейчас? Но оно также может обескураживать. Почему бы не согласиться на спокойную жизнь, раз наши дела все равно не имеют большого значения? Либо оно может привести к обоим результатам. Пассивные демократии легко возбуждаются; а активные — легко успокаиваются. Демократический фатализм неустойчив по самой своей сущности.

Не все оценили связь между разнuzданностью демократической жизни и ее желанием плыть по течению — саму эту идею было не так-то легко понять. Вторая книга получила гораздо более холодный прием, чем первая. Многим рецензентам она показалась слишком абстрактной и парадоксальной. Английский философ Джон Стю-

арт Милль был одним из немногих, кому вторая книга понравилась так же, как и первая. Как и Токвиля, Милля глубоко волновала проблема фатализма. В собственных работах он попытался провести различие между разными формами, которые может принимать фатализм. Есть то, что Милль назвал «чистым фатализмом» (также иногда он называл его «восточным»), который представляет собой веру в то, что высшая сила заранее предназначала все то, что когда-либо должно случиться с нами. Эта идея, по мысли Милля, ведет к оцепенению. Кроме того, существует то, что он назвал «умеренным фатализмом», который представляет собой веру в то, что мы суть продукты наших обстоятельств и что в этом мы ничего изменить не в состоянии. Фатализм такого рода получил распространение в наиболее развитых западных обществах³.

Умеренный фатализм не был глупостью, поскольку современная наука показала, что все мы в определенном смысле являемся продуктом наших обстоятельств: у причин есть необходимые следствия (Милля порой относили к сторонникам учения о строгой необходимости). Также умеренный фатализм не делал людей безусловно покорными своей судьбе, в отличие от чистого фатализма. Милль знал, что фаталисты могут быть как довольными, так и недовольными, как плаксивыми, капризными, так и спокойными, покладистыми. Фатализм мог порождать самодовольство, но также он мог производить раздражительность и непостоянство. Но в обоих случаях он представлял собой опасность. Умеренные фаталисты все же совершали фундаментальную ошибку. Поскольку нас определяют наши обстоятельства, они полагали, что мы

³ Наиболее полное обсуждение разновидностей фатализма у Милля содержится в его работе «Система логики» (1843), в главе «О свободе и необходимости» [Mill, 1974; Милль, 2011, с. 624–630].

бессильны изменить то, кем мы являемся. Однако Милль подчеркивал, что мы все же можем кое-что сделать с этим. Мы можем менять наши обстоятельства.

Когда Токвиль прочитал работы Милля о фатализме, он написал ему, что в них было именно то, что он пытался ухватить, когда писал об американской демократии. Когда же Милль получил вторую книгу «Демократии в Америке», он написал Токвилю, чтобы сказать ему о чувстве облегчения, вызванном тем, что он наконец-то нашел того, кто понимает его озабоченность.

Одно из ваших важнейших общих заключений именно в том, что я едва ли не в одиночку отстаивал до сей поры и не завел, насколько мне известно, ни одного ученика, — в том, что действительная опасность в демократии, действительное зло, с которым надо сражаться и для предотвращения которого не будут лишними никакие человеческие силы и ресурсы, — это не анархия или любовь к переменам, а китайская стагнация и неподвижность [Mill, 1963, p. 433].

Впрочем, демократии на самом деле не страдали от восточного фатализма. Они страдали от его умеренной версии. Они могли быть непостоянными. Но наряду с непостоянством обнаруживалась и тенденция к стагнации. Опасность для демократии состояла в том, что никто не попытался разобраться с глубинными условиями ее политики. Вместо этого каждый цепляется за поверхностную активность политической жизни — за все эти свары и компромат, которые сосредоточивают на себе общую злость и фрустрацию, тогда как в глубине ничего на деле не меняется. В демократии вся энергия обычно направляется на следствия политики, а глубинные причины игнорируются. Именно так демократии зацикливаются.

Как же им выйти из этой колеи? Главное средство от демократического фатализма, как и от любого другого, со-

стояло, по мысли Милля, в обучении. Демократиям нужно вырасти. Фатализм — это, по существу, детское состояние ума, поскольку дети — образцовые умеренные фаталисты: они тратят кучу времени на слезы и кипучую деятельность, но только потому, что, как им известно, от них в действительности ничего не зависит. Они ждут, пока кто-то не возьмет на себя ответственность. Дети вырастают, когда научаются брать ответственность за собственную судьбу. Но от кого они могут научиться? Милль говорит, что родители и учителя показывают нам, «как влиять на наш характер с помощью подходящих обстоятельств». Проблема в том, что у демократий нет родителей или учителей, по крайней мере их не должно быть. Это монархиями правят фигуры, воплощающие в себе отца. Демократии должны управлять собой сами. Риск демократии заключался в том, что, позволив кому-либо играть роль родителя или учителя, они могут отказаться от ответственности за свои обстоятельства. Этого Токвиль и боялся. Он писал: «Я думаю, что правители их будут не столько тиранами, сколько их наставниками» [Токвиль, 1992, с. 496].

Проблема была еще и в том, чему учить демократию. Токвиль опасался, что, если просто объяснить людям истину политического развития, это укрепит их в фатализме, поскольку факты указывали на неумолимый прогресс демократии. Поэтому Токвиль считал, что демократическим обществам нужна здоровая доза религии, без которой они не могут сохраниться: демократии лучше всего подходит, когда у индивидов есть личная вера, способная подкрепить общие истины науки о политике. Это означало, что светская история особенно опасна для демократий. Историки в эпоху демократии часто заражались тем, что Токвиль назвал «доктриной фатальности» (*fatalité*): «Они не удовлетворяются поиском логики происходившего; им доставляет удовольствие их собственная спо-

способность убедить читателя в том, что ничего другого и не могло произойти» [Токвиль, 1998, с. 367]. Демократиям же нужно было как раз ощущение того, что у них открытое будущее и что их решения все еще имеют значение. Единственный, вне религии, способ добиться такого ощущения — сделать так, чтобы у решений действительно были реальные следствия. Из книг этому научиться нельзя. Демократии должны были учиться на опыте.

Лучший способ научиться на опыте — это делать ошибки. Милль и Токвиль считали, что главная часть обучения состоит в свободе экспериментирования и, если нужно, совершении ошибок. Однако одно дело — сказать какому-то человеку, что он может совершать ошибки, и совсем другое — сказать то же самое политическому обществу. Когда политика ошибается, последствия могут стать катастрофой для всех. Демократии могли бы извлекать пользу из того, что индивиды рискуют и совершают ошибки, поскольку это лучший способ сохранить открытость политики новым идеям. Однако когда рискуют и совершают ошибки демократические общества в целом, именно на долю индивидов выпадают страдания. Кроме того, когда демократии делают что-то не так, часто у них нет пути назад.

Токвиль очень хорошо это осознавал, как и то, чем определялось уникальное место США в истории человечества. Американская демократия могла позволить себе ошибаться. «Огромное преимущество американцев состоит в том, что они могут себе позволить совершать поправимые ошибки», — писал он [Токвиль, 1992, с. 185]. Америка была достаточно большой и изолированной от остального мира, чтобы ее ошибки в политике не приводили к катастрофам. У нее было достаточно времени и пространства, чтобы возместить любой ущерб. Но не так обстояли дела в Европе, где давление со стороны населения и соперничество между государствами превраща-

ли демократию, которая попыталась бы учиться на собственном опыте, в легкую жертву для конкурентов. То же самое относилось и к Южной Америке, где ни одна демократия не продержалась достаточно долго, поскольку одной ошибки хватало для фатального исхода. Только США могли экспериментировать с демократией, не боясь последствий.

Однако проблема для американской демократии заключалась в следующем: знание о том, что она может совершать поправимые ошибки, опасно сближалось с тем представлением, что ошибки не имеют значения. Токвиль увидел, что здесь имеется моральный риск. Если вы не боитесь последствий своих решений, как вы можете научиться принимать их всерьез? В этом и состояло различие между Европой и Америкой. Европейцы не могли ставить на демократию, поскольку боялись последствий. Как сказал Токвиль, европейское государство могло быть по-настоящему уверенным, что его демократическое устройство сохранится, только в том случае, если каждое европейское государство станет демократией. Пока этого не случится, европейцы так и не смогут перешагнуть порог доверия, опасаясь довериться демократии. Однако американская демократия, которая перешла этот порог доверия, оказалась в ином положении. Она была готова застрять на уровне детского умонастроения, поскольку ничего действительно плохого никогда не случалось. Так или иначе, американцам нужно было по-настоящему испугаться. С момента кризиса, которым сопровождалось ее рождение, американская демократия никогда не сталкивалась ни с одним настоящим кризисом. «У американцев нет соседей, — писал Токвиль, — поэтому им не угрожают крупные войны, финансовые кризисы, опустошения и завоевания» [Токвиль, 1992, с. 214]. Это было их самое большое преимущество. Но это же было их величайшей слабостью.

ДЕМОКРАТИЯ И КРИЗИС

Токвиль не был вполне уверен в том, чего пожелать американской демократии. Он хотел, чтобы она взяла на себя ответственность за свою судьбу. Но он знал, что демократия в Америке расцвела в основном потому, что долгое время ничего подобного не случалось. Американцы в течение нескольких поколений могли избегать по-настоящему трудных решений. В итоге Токвиль не знал, что думать о последствиях будущего кризиса американской демократии. Кризисы могут пойти демократии на пользу, если заставят ее задуматься о положении, в котором она находится, если они побуждают людей взять ответственность за свою судьбу. Однако они могут принести демократии вред, если подрывают веру в будущее, сея панику и страх. Кризис — это по определению опасное время. И если вы пожелаете демократии кризиса, который будет достаточно серьезным, чтобы она смогла отнестись к своим решениям соответственно, вы рискуете поставить перед ней задачу, которую она не сможет выполнить.

Простого способа обойти эту проблему не существовало. Кризис, достаточно тяжелый, чтобы принести пользу демократии, мог также оказаться достаточно тяжелым, чтобы причинить ей реальный ущерб. Проблема осложнялась тем, что кризисы — это моменты опасности, но демократии в такой ситуации не всегда показывают одинаково хорошие результаты. В эти моменты как раз и обнаруживаются их слабости. Демократиям намного сложнее, чем другим системам правления, координировать свои действия на краткосрочном этапе: разбросанность и непостоянство демократической жизни осложняют выработку своевременных решений. Аристократии, по словам Токвиля (который подразумевал под ними неэгалитарные или авторитарные режимы), гораздо лучше умеют концентрировать свои ресурсы в короткие промежутки вре-

мени; тогда как в демократии, напротив, всегда есть нечто «несвоевременное». В этом смысле, аристократии лучше справляются с неотложными требованиями политики в критический момент, т.е. показывают лучшие результаты в плане скорости и решительности. Желать демократии кризиса, дабы он вывел ее из оцепенения, — значило требовать от нее решить задачу, которая на руку ее конкурентам. Разве это может быть хорошей идеей?

Однако она могла бы сработать, если бы кризис оказался достаточно долгим. В таком случае преимущества демократии получали возможность проявить себя. Хотя аристократические общества хороши в принятии быстрых решений, они вскоре на них зацикливаются. Они плохо приспосабливаются. Демократии, поскольку они всегда делают больше, постоянно экспериментируют и не прекращают движения, в долгосрочной перспективе показывают лучшие результаты, так как находят разнообразные способы отвечать на сложные вызовы. Демократии, если у них есть время, могут, приспособившись, выкарабкаться из кризиса, на что неспособна авторитарная система. Но имеет ли смысл желать демократии такого длительного кризиса? Здесь есть две проблемы. Одна в том, что в слишком затянувшихся кризисах немало опасных моментов. В конце концов, это кризисы, с которыми непонятно что делать: чем дольше они длятся, тем оставляют больше возможностей для того, чтобы случилось нечто действительно плохое. В долгих кризисах достаточно места для краткосрочных катастроф. Вторая проблема в том, что кризисы должны стряхнуть с демократий их фаталистические тенденции. Но если они длятся долго, существует риск, что демократии снова начнут просто плыть по течению, дожидаясь, пока их спасет история.

Следы нерешительности Токвиля в этих вопросах можно усмотреть в его трактовке перспектив демократии,

находящейся в состоянии войны. Токвиль говорит, что демократическим странам следует вступать лишь в войны определенного типа — в долгие, сложные и напряженные. Только в таком случае демократические преимущества приспособляемости и подвижности выходят на первый план. Токвиль считал, что в международных отношениях демократии плохо справляются с вызовами, требующими немедленной реакции: они нетерпеливы, капризны, слишком быстро идут в атаку, но также готовы пустить все на самотек. В результате они, по его мнению, обычно уклонялись от войн, в которые должны были вступить, и участвовали в войнах, от которых им следовало уклониться. Аристократические общества намного лучше знают, когда и как вступить в битву. Но как только борьба начинается, аристократии обычно увязают в ней. Они слишком негибкие. «Аристократический народ, сражаясь против демократической нации, сильно рискует оказаться побежденным ею, если ему не удалось разгромить ее в результате первых же боевых операций», — предсказывал Токвиль [Токвиль, 1992, с. 476].

В демократиях присутствует живучесть и страсть к экспериментам, которая делает их подходящими кандидатами для длительного состязания. Помимо всего прочего, они постоянно меняют своих военных руководителей, пока не найдут тех, кто способен решить задачу. Они не помешаны на традициях и репутации. (Хотя одна из проблем демократии в том, что они часто действительно зацикливаются на репутации после того, как кризис миновал: у них обнаруживается тенденция награждать своих прославленных воинов политическими должностями.) Но даже долгие войны представляют для демократий определенные проблемы. Демократии не знают, когда вступить в битву, точно так же, как они не знают, когда остановиться. «Демократическим народам всегда будет трудно делать

две вещи: начинать войну и заканчивать ее», — писал Токвиль [Токвиль, 1992, с. 469].

Токвиль не мог быть уверенным в том, что такой демократии, как США, по-настоящему серьезная война принесет пользу. Всегда сохранялся риск, что краткосрочные слабости действующей демократии окажутся фатальными. К тому времени американская демократия успела поучаствовать лишь в одной крупной войне, в Войне за независимость, но выводы из нее остались неопределенными⁴. США выиграли войну с аристократическим противником, но победа была недалеко от ничьей. Кроме того, как писал Токвиль, «пока она [война] длилась, проявлялся и привычный эгоизм». Деньги перестали поступать в казну; а на службу в армию стало являться меньше добровольцев. Войны, особенно долгие, опасны потому, что они порождают фатализм, равно как и его неприятие. В результате, по словам Токвиля, «трудно сказать, на какие действия способно демократическое правительство в период национального кризиса». Это может зависеть не только от длительности кризиса, но также от того, в какой мере люди желают связывать свою судьбу с судьбой их страны.

Чтобы оценить, на какие жертвы способны демократические страны, нужно дождаться момента, когда американский народ будет вынужден отдать в руки своего правительства половину своего дохода, как в Англии, или будет должен бросить на поле сражения двадцатую часть населения своей страны, как это было во Франции [Там же, с. 178].

⁴ После этого США участвовали в ряде более мелких войн, включая еще одну войну с Британией в 1812 г. Токвиль следует за сложившимися после этой войны историческими представлениями, принося ее значение. Противоположный взгляд, утверждающий, что конфликт 1812-го года был важным событием в историях обеих стран, участвовавших в войне, см.: [Bickham, 2012].

Это время наступило скорее, чем Токвиль мог себе представить.

Желать демократии длительного кризиса, чтобы она продемонстрировала свои преимущества, само по себе было опасным. Но была другая проблема с представлением о том, что кризис может пробудить в демократии ее сильные стороны. Демократиям очень сложно понять, когда у них начинается настоящий кризис. И причина была не в том, что они стремятся забыть об опасности. Напротив, они слишком чувствительны к ней. Безопасное положение США не помешало американцам относиться к каждой незначительной драме так, словно это кризис. В демократиях всегда полно людей, считающих, что катастрофа не за горами. Свобода слова включает и свободу паниковать безо всякой на то нужды. Как понял Токвиль во время своего путешествия по Америке, демократическая жизнь — это цепочка кризисов, которые, как выясняется впоследствии, вовсе не кризисы.

Наиболее заметный из этих фальшивых кризисов случается как по часам: такие кризисы называются выборами. В главе «Демократии в Америке», озаглавленной (с осознанной иронией) «Кризисная ситуация во время выборов», Токвиль описывает ритуальную истерию, сопровождающую эти события:

По мере приближения выборов интриги нарастают, а волнение людей приобретает все более лихорадочный и массовый характер... Вся страна взбудоражена, выборы становятся ежедневной темой всех публичных изданий, всех частных бесед, целью любых начинаний, объектом всех помыслов — словом, единственным в этот момент интересом у всей страны.

Правда, как только объявляются результаты выборов, эта суматоха кончается, все успокаиваются, словно река, вышедшая из берегов, а затем мирно возвращающаяся в собственное русло. И не удивительно ли вооб-

ще, что подобная буря могла-таки возникнуть? [Токвиль, 1992, с. 118].

Это иная сторона демократической инерции: она совмещается со значительной поверхностной активностью. Если бы инерция была просто пассивным состоянием ума, было бы проще доказать, что кризисы могли бы принести пользу, пробуждая демократии ото сна. Но Токвиль знал, что демократии на самом деле никогда не отходят ко сну. Что бы ни происходило, они почти всегда находятся в состоянии бодрствования, и это способствует поддержанию их маниакальности и капризности. Это означает, что они всегда высматривают грядущий кризис. Но также это значит, что почти все замеченные ими кризисы оказываются иллюзиями.

Выборы остаются наиболее показательными ложными кризисами демократической жизни — в силу как их регулярности, так и кратковременности. Каждые выборы описываются по шаблону — как поворотный пункт («наиболее важный выбор поколения» и т.д.). Но после завершения выборов таким же шаблонным является понимание того, что ничего особенного не поменялось. Временами бывают выборы, которые действительно оказываются поворотным моментом. Но, как мы увидим, для демократий характерно и то, что эти изменения обычно не замечаются вовремя.

По словам Токвиля, главными виновниками этой неразберихи являются газеты. Задача каждой газеты (по крайней мере, если она стремится привлечь читателей и заработать денег) — раздуть кризис. Не может быть демократии без живой и склочной прессы. Но сама живость прессы приводит к тому, что людям сложно понять, когда они на самом деле должны обратить на что-то внимание. Токвиль счел американские газеты чудовищно вульгарными и крайне возбудимыми. «В Америке журналистский

стиль, — писал он, — грубо, беззастенчиво, не подыскивая выражений, обрушиться на свою жертву, оставив в стороне всякие принципы, будет давить на слабое место, ставя перед собой единственную цель — подловить человека, а далее преследовать его в личной жизни, обнажая его слабости и пороки». Он продолжает: «Должно сожалеть о подобных злоупотреблениях; <...> [но] Нельзя не признать, что политическое воздействие свободы печати имеет немалое значение непосредственно для поддержания общественного порядка». Спустя какое-то время люди настолько привыкают к шуму свободной прессы, что едва ли вообще его замечают. Любая незначительная вспышка гнева вскоре сходит на нет, замещаясь другой. «По этой же причине взгляды, выражаемые журналистом, не имеют никакого веса у читателей» [Токвиль, 1992, с. 152–153 (пер. изменен)]. Газеты, как и выборы, показывали, в какой мере разглагольствования о кризисе являются составляющей обычного распорядка демократической жизни и как мало они значат.

Газетная истерия была лишь частью более общей проблемы: кризис мог бы принести пользу демократии, но демократиям сложно распознавать кризисы. Они реагируют слишком сильно, но также и слишком слабо; у них нет чувства меры. Вот почему так сложно понять, кризис какого типа позволил бы демократии выучить преподнесенный им урок. Если бы кризис оказался таким серьезным, что ни у кого уже не было бы сомнений в его реальности, тогда всегда оставался бы риск, что он закончится катастрофой. Если же он не заканчивается катастрофой, всегда есть риск, что он будет причислен — в качестве ложной тревоги — к другим переоцененным кризисам демократической жизни. И даже на настоящих кризисах — тех, в которых никто не мог бы усомниться, — учиться было сложно. Если демократия не выживет, это будет означать, что вы выучили урок, но неприемлемой ценой. Если демократия выжи-

вет, значит, вы, возможно, выучили тот урок, что демократия может пережить любой кризис. Если вы оправились от ошибок, вы, возможно, стали не мудрым, а беззаботным.

Однако у демократий был и другой способ учиться на кризисе. Это не обязательно должен быть их собственный кризис. Они могли бы научиться на чужих ошибках. Они могли взглянуть на катастрофические результаты демократии в других частях света и подумать: мы должны сделать так, чтобы с нами этого не случилось. Токвиль полагал, что американской демократии могла бы в этом смысле пойти на пользу бóльшая осведомленность в происходящем в Европе, и точно так же он надеялся, что европейцы смогут научиться на опыте Америки.

Одна из причин, по которой он написал «Демократию в Америке», — желание показать своим французским читателям, как демократия работает в условиях, отличных от их собственных, дабы они могли почувствовать перспективу. Они по крайней мере поняли бы, что она *может* работать. Америка с ее способностью переживать собственные ошибки могла бы научить европейцев тому, что демократия все еще возможна. Европа с ее сохраняющимися монархиями и историей поражений демократии могла бы научить американцев тому, что демократия не является неизбежной. Они могли бы понять, что она не *всегда* работает. Мир, в котором демократия существовала на разных стадиях развития и с разными шансами на успех, опровергал тот взгляд, будто план, предначертанный Богом для универсума, — дело решенное. Будущее все еще было открытым.

Но действительно ли демократии могли учиться на чужих ошибках? Американская демократия вследствие своей изолированности от остального мира была замкнута в себе, провинциальна, себялюбива. Ей было на самом деле сложно увидеть что-то за пределами своего непосредственного горизонта. Когда демократии сталкиваются с

чужим опытом, они могут счесть его угрозой, а не уроком. Кроме того, не было гарантий, что та или иная демократическая страна может быть полностью изолирована от дурных последствий провала демократии в какой-то другой стране. Даже США, отрезанные от остального мира, не могли предположить, что проблемы других государств являются всего лишь нравоучительными байками. Всегда оставалась возможность, что последствия того или иного европейского кризиса перекинутся на США. И тогда это будет кризис и для Америки.

Стоило ли делать ставку на кризисную политику, дабы вернуть демократии чувство цели? В конечном счете Токвиль и Милье разошлись в своих ответах на этот вопрос⁵. Разрыв произошел из-за событий, происходивших не в Америке, а в Европе. В конце 1840 г. Британия и Франция оказались на пороге войны, когда, будучи империями, поспорили за права на Судан. Милье был резко против войны. Токвиль же ее с энтузиазмом поддержал. Милье думал, что подобная война между двумя молодыми демократиями была глупостью, а политики, которые ее раздували, — преступниками. Наибольшим презрением он потчевал воинственного министра иностранных дел Британии Пальмерстона, на которого не пожалел яда в своем письме Токвилю: «Я был бы рад прошагать 20 миль, чтобы увидеть, что его повесили, особенно если бы Тьер [его коллега из фран-

⁵ Для разногласий между ними были и другие причины. Милье, как и многие другие читатели «Демократии в Америке», полагал, что Токвиль не дал точного определения тому, что подразумевается у него под демократией, и он подозревал, что Токвиль ругает демократию за грехи, которые на самом деле относились к принципу равенства (среди них — посредственность и конформизм). Однако наиболее яркие взгляды Токвиля относятся именно к демократии (пусть и определенной в самых общих чертах), а не к равенству: именно демократический дух Америки породил отличительное для нее сочетание поверхностной активности и глубинной инерции. Милье и Токвиль оба соглашались с этим.

цузского министерства иностранных дел] висел рядом» [Mill, 1963, p. 460]. По всей вероятности, ни одна демократия не сможет ничему научиться, пока она в руках подобных негодяев и их истерических сторонников в прессе.

Токвиль смотрел на дело иначе. Как и многие французы, он не думал, что Британия, несмотря на все ее либеральные традиции, является настоящей демократией. Это было, по его мнению, все еще аристократическое по своим основам общество, чьими типичными представителями были такие люди, как Пальмерстон. Франция была намного более реальной демократией (т.е. на пути к равенству условий она продвинулась дальше), но она застряла в колее и потеряла всякое представление о своей собственной силе в результате затянувшегося и крайне неприятного послереволюционного похмелья. Ей было нужно что-то такое, что позволило бы стряхнуть оцепенение, в которое слишком легко впадал французский ум. И этого результата нельзя было достичь за счет международного сотрудничества. В 1841 г. он с насмешкой написал Миллю: «Нельзя позволить нации с такой демократической конституцией, как у нашей... приобрести в ранние годы привычку жертвовать своим величием ради собственного спокойствия. Нет ничего здорового в том, чтобы позволить такой нации утешаться строительством железных дорог» [Tocqueville, 1985, p. 151]. Токвиль думал, что демократиям время от времени нужен реальный кризис, чтобы они могли показать, на что способны. Милль полагал, что желать демократии кризиса — нечто совершенно безответственное, если знаешь, на что они при таком кризисе способны.

Токвиль и Милль оказались по разные стороны этого спора, но в нем отражались две стороны их общего взгляда на демократию. Вещи, в которых демократии хороши (торговля, комфорт), плохи для демократии, поскольку они вскармливают узколобость и самодовольство; вещи, в которых демократии плохи (кризисное управление, меж-

дународные столкновения), хороши для демократии, поскольку они способны расширить ее горизонты и стряхнуть это чувство самодовольства. Нельзя найти простой выход из этой дилеммы. Причина, по которой Милль и Токвиль не могли согласиться по вопросу войны между Британией и Францией, состояла не только в том, что они оказались буквально по разные стороны. Она была еще и в том, что в кризисе для демократии всегда есть две стороны — хорошая и плохая, — и примирить их бывает чрезвычайно трудно.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БУДУЩЕМУ

Многое из того, что Токвиль сказал о демократии и кризисе, было несистематичным: его мысли по этой теме беспорядочно разбросаны по разным текстам. Не всегда ясно, что он хочет сказать, и он не всегда последователен. Кроме того, по большей части то, что он говорил, лишь догадки. Тогда просто не существовало данных, позволяющих выяснить, как демократии справятся с критическими ситуациями. В Америке была работоспособная демократия, но не было кризисов. В Европе были кризисы, но не было действующих демократий.

Тем не менее размышления Токвиля составляют относительно четкий комплекс предсказаний о том, как могла бы сложиться судьба демократий. В целом демократии должны лучше справляться с кризисами, чем конкурирующие системы, поскольку демократии лучше адаптируются. Но тут есть три проблемы. Во-первых, демократии плохо распознают критические ситуации: весь этот поверхностный шум демократической политики отбивает у них чувствительность к действительно поворотным пунктам. Во-вторых, кризисы должны стать по-настоящему серьезными, прежде чем демократии смогут показать свои долгосрочные сильные стороны, но ког-

да они становятся действительно серьезными, у демократий появляется больше шансов совершить значительные ошибки. В-третьих, когда демократии переживают кризис, они не обязательно учатся на этом опыте. Любые кризисы позволяют учиться на ошибках, которых следует избегать в будущем. Однако демократии могут извлекать иной урок: какие бы ошибки они ни совершали, в конечном счете все с ними будет в порядке.

В XIX в. возможностей проверить эти гипотезы было мало. Серьезный кризис французской демократии случился в 1848 г., когда по всей Европе прокатились революции. Токвиль, ставший к тому времени относительно успешным политиком, находился едва ли не в центре этих событий (на какой-то незначительный промежуток времени он стал министром иностранных дел Франции). Тем не менее кризис обернулся катастрофой и для него лично, и, как он сам видел ситуацию, для его страны. Он пробудил французскую демократию, но дал ей толчок в ложном направлении — не к ее потенциалу, а к ее несостоятельности. Французская политика оказалась зажата между обещанием революционных преобразований и страстным стремлением к аристократическим устоям. Токвиль чувствовал, что его сокрушили не подчиняющиеся ему политические силы. Закончил он, став жертвой фатализма, который он сам больше всего презирал. В 1850 г., распрощавшись со своей политической карьерой, он писал: «Мне кажется, что без компаса, руля и весел я оказался на море, берега которого больше не вижу, и, устав от тщетных волнений, припал ко дну лодки, дожидаясь будущего» (цит. по: [Hadari, 1989, p. 147–148]).

Токвиль умер в 1859 г., а потому не дожид до великого кризиса, который поглотил американскую демократию двумя годами позже. В «Демократии в Америке» он выразил достаточную уверенность в том, что злобная язва рабства все-таки не приведет к длительной гражданской

войне. Демократии, как ему казалось, защищены от наихудших последствий гражданского конфликта, поскольку население не потерпит раскола: в этом случае демократическая пассивность представлялась скрытым благословением⁶. Однако пассивность была лишь одной из сторон демократии. Шло время, и Токвиля все больше удручала другая сторона американской политической жизни — ее нетерпеливость и непостоянство. Американская демократия не только не училась на своих ошибках, но и, похоже, становилась все более инфантильной и упрямой. В 1856 г. он написал одному своему американскому другу: «Достоверно то, что в течение нескольких лет вы странным образом злоупотребляли преимуществами, данными вам Богом, преимуществами, которые позволили вам безнаказанно совершать серьезные ошибки... Если смотреть с этой стороны океана, вы превратились в испорченного ребенка» (цит. по: [Craiutu, Jennings, 2004, p. 183])⁷. Американская демократия казалась все более необучаемой. Инфантильность вела ее к пропасти.

Кризис, когда он наконец наступил, оказался намного более затяжным, кровавым и деструктивным, чем Токвиля мог себе представить. Четыре года гражданской войны

⁶ Его больше беспокоила возможность конфликта черных и белых на Юге, чем вооруженного конфликта между Севером и Югом. Остро критические взгляды Токвиля на расовые отношения в Америке изложены в заключительном разделе первой книги «Демократии в Америке» («Некоторые соображения по поводу современного состояния и возможного будущего трех рас, населяющих территорию Соединенных Штатов»). Его взгляды касательно невозможности полномасштабной гражданской войны в демократии представлены во второй книге. Это одна из немногих тем, которые во втором томе представлены в менее мрачном свете, чем в первом.

⁷ Токвиля использует латинское выражение «puer robustus», которое означает ребенка, который продолжает жить внутри взрослого мужчины.

могли бы оказаться для американской демократии роковыми, но все-таки не оказались. Республика приспособилась и выжила. Стало ли это моментом, когда американская демократия повзрослела? В 1888 г. британский юрист и дипломат Джеймс Брайс опубликовал книгу под названием «Американская республика», задуманную им в качестве дополнения к Токвилю спустя 50 лет, чтобы учесть все то, что тот либо не мог знать, либо проигнорировал. Брайс пришел к выводу, что американская демократия стала более устойчивой, справедливой и зрелой, чем во времена Токвиля. Токвилю была известна лишь американская демократия в период ее юности, когда она, как говорит Брайс, «преисполнилась самонадеянностью, опьяненная избытком собственной свободы». И из-за этого Токвиль пришел к неверным выводам.

Массы были настолько убеждены в своем неимоверном превосходстве над всеми остальными народами, и прошлыми, и настоящими, что просто не хотели ничего слушать, кроме лести, а их нетерпимость распространилась из политики на все остальные сферы... По мере роста нации она избавилась от этих юношеских недостатков и неопытности, тогда как суровая дисциплина Гражданской войны научила ее трезвомыслию, и подарив ей то, чем она могла по праву гордиться, разогнала дымку самообмана [Bryce, 1888, p. 235–236].

Это была трудная школа, но гражданская война преподнесла американской демократии урок.

Теперь же Брайс обнаружил иную проблему. Политическая жизнь в Америке выстроилась по новой устойчивой схеме. Перед ней стояла опасность, которую Брайс называл «фатализмом толпы» и которая совпадала с тиранией большинства по Токвилю, на этот раз избавленной от злобы большинства и его нетерпеливости. Американцы собрали достаточно сведений, подтверждающих глу-

бинную силу их политических институтов, а потому стали принимать свой успех за нечто само собой разумеющееся. Это привело к «оптимизму, который недооценил внутренние сложности политики и неизбежные слабости человеческой природы» [Ibid., p. 432]. Американцы больше не были дикими и заносчивыми. Но они стали слишком уверены в том, что могут справиться с любыми напастями. Они приобрели новую веру в свою демократическую судьбу, и эта вера стала еще крепче, поскольку она выдержала испытания. Но в этом смысле американская демократия свой урок не выучила. Дополнение Брайса, которое должно было внести поправки к Токвилю, возвращает нас к тому месту, на котором остановился сам Токвиль.

Как показывает Брайс, крупнейшие кризисы демократии XIX в. могут служить подтверждением проницательных идей Токвиля относительно некоторых затруднений, свойственных демократии. Правильный урок выучить очень сложно. Провал питает отчаяние, а успех — самодовольство. И граница между ними весьма тонка. И то и другое является проявлением демократического фатализма, а это значит, что успех и провал часто идут рука об руку. Но Брайс был необычным автором. В конце XIX в. взгляды на демократию чаще стремились к радикальным крайностям. Люди искали глубинную истину демократии и ждали, что кризис обнажит ее. С европейской точки зрения 1848 год так и остался незаконченным делом, а американская Гражданская война представлялась всего лишь второстепенным событием. Это была эпоха революционного социализма и подъема национализма, радикальной демократии и радикальной антидемократии. Политические мыслители этого периода, которых мы по-прежнему читаем, — это немцы, получившие всемирно-историческое значение, Маркс и Ницше, апостолы демократических преобразований и лишений, борцы с ложной видимостью. Этих людей считают пророками наступавшего века революций и войн. Никто не

читает «Американскую республику» Брайса и не пытается найти в ней ключ к будущему.

И все же взгляд Брайса, сформировавшийся к концу XIX в., оказался поистине пророческим. Маркс и Ницше способствовали оформлению кризисов XX в.: именно к их идеям обращаются люди, когда стремятся к политической трансформации. Однако совокупный эффект тех же кризисов соответствует схеме, изложенной Брайсом, а до него — Токвилем: провал ведет к успеху, успех — к провалу, а истины, которые могли бы устранить разрыв между первым и вторым, всегда остаются недостижимыми. Мы все еще читаем Маркса и Ницше, поскольку хотим, чтобы кризисы стали моментами истины. Но Токвиль обнаруживает, что моменты истины демократии являются иллюзиями. Демократия худо-бедно разбирается с войной и революционными переменами, но путаница, ей свойственная, никуда не исчезает, а прогресс все так же неумолим. Она никогда не пробуждается в полной мере и никогда полностью не взрослеет. И это приводит к тому положению, в котором мы находимся сегодня.

Чтобы понять, как мы дошли до этого, я собираюсь рассказать историю семи кризисов, случившихся за последние 100 лет в стабильных демократиях. Кризисы демократии в XIX столетии были слишком беспорядочными, чтобы подтвердить истину слов Токвиля: демократия еще не утвердилась в достаточной мере, чтобы показать, каков будет ее порядок. Именно XX веку было суждено доказать, что Токвиль был прав, и началось это с войны, которая должна была положить конец всем будущим войнам, а также с всемирно-исторического триумфа демократии в 1918 г., который обернулся чем-то совершенно иным.

Глава I

1918: Ложный рассвет

КРИЗИС

30 июня 1918 г., ровно посередине года, французский писатель Эдуард Эстонье объявил, что борьба за цивилизацию закончена. Первая мировая война, которая к тому времени тянулась уже почти четыре года, была проиграна. Немцы добились решающего прорыва и подошли к Парижу на расстояние 50 миль, достаточное, чтобы постоянно бомбардировать город. Вскоре Париж должен был пасть, поскольку ничто не могло помешать немецкой армии развить свое преимущество и разбить деморализованных противников. Немцы должны были войти в город-призрак; многие парижане уже сбежали из города, который все больше походил на морг. Ничего не поделаешь. Победа доставалась людям, которые хотели ее больше и были готовы сделать все возможное, лишь бы заполучить ее. Эстонье сетовал на то, что на протяжении всей истории человечества в борьбе варварства и цивилизации в конечном счете всегда побеждало варварство¹.

Но Эстонье ошибся по двум пунктам. Во-первых, это не была борьба варварства и цивилизации. Она преврати-

¹ Обсуждение взглядов Эстонье см.: [Englund, 2011, p. 464–465].

лась в нечто совершенное иное, в сражение демократии с автократией. Не все цивилизации являются демократиями; а демократии не всегда цивилизованы. Во-вторых, борьба не была проиграна. На самом деле вскоре она будет выиграна. Через несколько недель немецкое наступление будет окончательно остановлено, а немецкая армия спустя несколько месяцев приступит к масштабному отступлению. Германская и Австро-Венгерская империи рухнули еще до конца того же года, их руководство оказалось в полном замешательстве, а политические системы были низвергнуты. Франция, Великобритания и США должны были вот-вот одержать оглушительную победу. Демократия стояла на пороге величайшего триумфа в своей истории.

Вселенская тоска Эстонье хорошо передает полную неожиданность этого триумфа. В первой половине 1918 г. широко распространилось ощущение, что в окончательном сражении между автократией и демократией автократия окажется сильнее. Демократии были сражены не паникой или откровенным пораженчеством, а чувством изнурительной инерции. Давно уже было подозрение, что им не хватает решимости, необходимой для тотальной войны. Париж обезлюдел не за одно мгновение, не в спешном порядке; люди просто постепенно «вымывались», отправлялись в деревню, а потом просто не возвращались. Британская и французская армии не то чтобы явно отступали; их просто шаг за шагом оттесняли назад. Казалось, что политики не способны переломить ситуацию. Самое большее — они могли цепляться за достигнутое, надеясь на лучшие дни. Как же они могли сравниться в безжалостной целеустремленности с военными правителями Германии?

Как выяснилось, им это было не нужно. Демократии выиграли войну за счет того, что справились с поражением и разочарованием лучше врагов. Они пережили свои

отступления 1918 г. и повернули их в свою пользу, чего германский режим сделать не мог. Они не знали, как форсировать решение проблемы, но точно так же они не знали, когда наступает их поражение. В демократиях постоянно присутствует ощущение кризиса, но по этой причине за ним редко стоит что-то определенное. Когда же кризис охватил Германию, он стал для нее окончательным.

В первой половине 1918 г. некоторые чувствовали, что слабости демократии наконец дали о себе знать, но это ощущение оказалось иллюзией: демократии брели, спотыкаясь, к победе, а не к поражению. Однако это означало, что идея, будто победа является для демократии моментом истины, также было иллюзией. Демократии в момент кризиса не воссоединились со своей судьбой. Они просто не переставали делать свою работу. Истина успешных демократий состоит в том, что они никогда не достигают своего момента истины.

И все же искушение увидеть в победе демократии в 1918 г. исторический водораздел — побороть было очень сложно, особенно американцам, которые, вступив в войну, в немалой степени поспособствовали ее превращению в борьбу за демократию. И если некоторые французские интеллектуалы желали трактовать возможность поражения во вселенских категориях, некоторые американские интеллектуалы в том же самом свете видели победу. Это была возможность переделать мир: сделать его безопасным для демократии. Наиболее известным из этих интеллектуалов был американский президент Вудро Вильсон. Однако и у Вильсона было мало иллюзий относительно демократии. Прежде чем стать президентом, он работал профессиональным политологом. Он был учеником Токвиля и коллегой Брайса. Он знал, насколько сложно схватить истину демократии в любой конкретный момент времени и понимал опасность подобных попыток. Однако этого знания не хватило, чтобы спасти его от катастрофы.

Признание опасностей не помешало Вильсону попасть в ловушку.

1918 год остается одним из решающих кризисов в истории современной демократии. События этого года показывают, как быстро крайний демократический пессимизм может превратиться в неоправданный оптимизм. Оба являются плодами поиска глубинной истины демократии. Демократии часто переоценивают сами себя, когда они переживают или побеждают своих автократических соперников, поскольку полагают, что истина демократии наконец себя проявила. Но это не так. Со временем обнаруживается нечто совсем иное — то, что демократиям по самой их природе сложно поймать момент. Триумф демократии 1918 г. не был иллюзией, но он оказался вне досягаемости. Демократии превращают поражения в победы. Однако поскольку они неправильно понимают то, что сделали, они также превращают победы в поражения.

АВТОКРАТИЯ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ

Чтобы Первая мировая война могла завершиться триумфом демократии, сначала она должна была превратиться в кризис демократии. А чтобы превратиться в кризис демократии, она сначала должна была превратиться в сражение за демократию. Что и случилось в 1917 г.

Исходный конфликт, который начался в августе 1914 г., не мог быть борьбой за демократию, поскольку демократии и автократии не стояли по разные стороны. Самая важная в мире демократическая страна, США, сохраняла нейтралитет под руководством Вильсона, у которого не было особого желания впутываться в междоусобицы Европы, архаичные и кровавые. Подавляющее большинство американцев разделяли это мнение. Одна из причин, по которой большинство американцев не слишком стремились вступить в эту войну, заключалась в том, что Брита-

ния и Франция сражались на одной стороне с самым авторитарным государством в Европе, с царской Россией. Присутствие России на «демократической» стороне превращало в насмешку представление о том, будто это война шла из-за политических принципов. В действительности война с царем помогла убедить многих немецких демократов в том, что именно они боролись за европейскую свободу и против азиатского варварства. И с американской, и с немецкой точек зрения, британцы и французы не были демократами. Они были просто лицемерами-империалистами.

Все изменила русская Февральская революция 1917 г. Отречение царя и его замещение конституционным Временным правительством, обязавшимся провести свободные выборы, приветствовалось как победа демократии. Соответственно, более общему конфликту можно было придать такой смысл, который признавали даже его критики. Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, который с самого начала был против войны, написал своему другу, русскому писателю Максиму Горькому: «Я считаю революцию выгодой для человечества, поскольку она наконец оправдывает не только франко-англо-русский союз (который в дни царского правления был для западной демократии позором), но и всю войну в целом» [Holroyd, 1988, p. 613]. Русская революция помогла ускорить вступление в войну Америки. Непосредственным толчком стало решение Верховного командования Германии в январе 1917 г. возобновить атаки на американские суда. Однако моральный импульс исходил от России. В апреле 1917 г., выступая перед Конгрессом с заявлением о том, что Америка защитит демократию с оружием в руках, Вудро Вильсон сказал: «Разве не чувствует каждый американец, что наша надежда на будущий мир во всем мире стала крепче благодаря чудесным и радостным событиям, произошедшим в России?» [Weson, 1966–1994, vol. 41, p. 524]. В этой

речи Вильсон объявил, что целью Америки должно быть создание мира, безопасного для демократии.

В войне, продлившейся дольше, чем можно было ожидать, русская революция оказалась развязкой. Журналист Уолтер Липпман, который тогда должен был уволиться из редакции «New Republic», чтобы начать работу в Белом доме, после речи Вильсона написал: «Когда Россия стала Республикой, а Американская республика стала врагом, Германская империя оказалась изолированной от всего человечества как последний оплот автократии» [Lippman, 1917, p. 3]. Временное правительство России упрашивали теперь продолжить войну во имя демократической свободы. Революция выдвинула нового демократического героя в лице своего молодого идеалистического лидера, Александра Керенского. На Западе на какое-то время сложился настоящий культ Керенского, ставшего символом нового демократического оптимизма. Едва ли не все находили в нем нечто достойное восхищения. Бернард Шоу, как всегда падкий на преувеличения, ненароком высказал нечто вроде зловещего предсказания: в этом «хвостуне» Керенском ему нравилось то, что он напоминал ему его самого.

На самом деле Керенский был 36-летним юристом с небольшим политическим опытом, пробившийся на вершины власти благодаря своим ораторским способностям. Его речь завораживала, толпы млели, особенно женщины, которые, бывало, стонали или падали в обморок, когда слушали своего кумира. Но у него не было способности к политическому суждению. Летом 1917 г. Керенский решил сделать окончательную ставку на военное наступление против немцев, теснивших русских, поверив в силу демократических идеалов, якобы способных стать стимулом для его воинских частей. Он призвал русских солдат доказать то, что «в свободе сила, а не слабость» (цит. по: [Figes, 1996, p. 414]. К сожалению, они сделали прямо противоположное.

Кампания обернулась катастрофой, немцы разгромили слабо оснащенные русские войска, лишённые хорошего руководства. Выяснилось, что русские были опьянены не свободой; многие из них были попросту пьяны.

После этого провала весенний демократический оптимизм начал спадать как на Западе, так и на Востоке. Новая демократия Керенского, похоже, подтверждала старые предрассудки относительно недисциплинированности и безрассудности демократии. Сам Керенский олицетворял победу демократической надежды над опытом. Его провал открыл возможность для захвата власти гораздо более трезвомыслящими большевиками Ленина. Ленин объявил, что даст русскому народу то, что тот на самом деле хочет, т.е. завершит войну, и начал мирные переговоры с немцами. Выход русских из войны на восточном фронте значительно увеличивал вероятность поражения демократий на Западе, поскольку Центральные державы могли больше не сражаться на два фронта. Демократическая революция в России обернулась катастрофой для демократии.

По мере спада культа Керенского на Западе, началось формирование нового культа, а именно Эриха Людендорфа, сурового квартирмейстера германских военных операций. Людендорф стал символом того, чего демократиям не хватало. Война шла весь 1917 г., и за это время успехи западных демократий стали казаться еще более сомнительными. В армиях союзников случались бунты, политики постоянно ругались друг с другом, а на верхушке власти одни руководители сменяли других (Франция за несколько месяцев сменила трех премьер-министров). Несмотря на все красивые слова, Вильсон не спешил с отправкой американских войск и снаряжения в Европу. В ноябре плохо дисциплинированная итальянская армия сломалась и бежала, столкнувшись с австро-венгерским наступлением в Капоретто, еще раз показав, что в свободе

была слабость, а не сила. (Решимость австро-венгерских сил, которые славились своей ненадежностью, подкреплялась присутствием немецких частей.) Тем временем германское государство, ставшее к этому моменту военной диктатурой под руководством Пауля фон Гинденбурга и Людендорфа, начало собирать силы для последней атаки. Демократия отступала. На марше была автократия.

Чуть ранее в том же году издание «Atlantic Monthly» отравило журналиста Генри Луиса Менкена в Германию, чтобы он написал очерк о Людендорфе. Менкен был авантюрным политическим иконоборцем, подражавшим своему герою — Ницше, чьи идеи он впервые представил американским читателям около десятилетия назад. Менкен обожал Ницше, видя в нем великого «разрушителя» демократических благоглупостей. Когда в 1914 г. началась война, Менкен встал на сторону немцев, чьей политической системой он восхищался, поскольку она вознаграждала людей за силу воли, а не за мимолетную популярность. Восхождение Людендорфа к вершинам власти подтвердило это. Менкен с удовлетворением отмечал: «В издании “Wer Ist’s” 1914 г., немецком “Кто есть кто”, Людендорф вообще не упоминался. В те времена писали, что он был простым полковником в немецком штабе» [Mencken, 1917, p. 828]. Теперь же он стал «истинным правителем страны — возможно, лучшим человеком, рожденным Германией со времен Бисмарка». Но о нем все еще почти ничего не знали. «Ему не приписывают изречений, лозунгов, да и просто метких слов. Он по-прежнему остается таинственным человеком» [Ibid., p. 852]. Менкен хотел оттенить контраст с Вильсоном, политиком, которого он презирал. Вильсон, демократ с кучей лозунгов, любил подыграть толпе, не чурался философских сентенций, но почти ничего не делал.

Менкен играл на тревоге, накопившейся за все эти военные годы. Как могут демократии, выбирающие своих

руководителей по их способности польстить публике, тягаться с меритократической немецкой системой, которая вознаграждает за успех на поле боя, а не в лабиринте электоральной политики²? Война вынесла Людендорфа на самую вершину. В США руководителем по-прежнему был человек, переизбранный в 1916 г., когда пообещал не втягивать Америку в войну. Вильсон показал себя настолько приспособляемым, что это граничило с нелепостью. Менкен был совершенно уверен в том, какая система одержит верх при прямом столкновении форм правления, представленных двумя этими людьми.

Тревоги относительно несостоятельности демократии достигли своего пика в начале 1918 г. Могут ли демократии быть достаточно безжалостными, чтобы сразиться со своими соперниками в смертельной схватке? Достаточно ли у них воли к власти? Или же демократическая склонность

² В конце 1915 г. лондонская «Times» опубликовала ряд писем, в которых сравнивались преимущества таких авторитарных режимов, как Германия, с недостатками демократии в одних и тех же условиях военного времени. Один из авторов привел такое сравнение: «Монархия или бюрократия знает своих людей и их достижения и может обоснованно выбирать между ними, как ей захочется. У демократии нет таких знаний: она выбирает своих лидеров, поскольку они из хороших семей, поскольку они хорошие ораторы или же просто хорошие парни» (*Bampfylde F. Letters // Times. 1915. November 10*). Контекстом этой дискуссии стало недавнее поражение кампании союзников в Дарданеллах, вина за которое была возложена на политическую некомпетентность. Стратег кампании, Уинстон Черчилль, на следующей неделе подал в отставку, покинув британский кабинет министров, и казалось, что его политической карьере пришел конец. В то же самое время Людендорф сделал себе имя несколькими военными победами на Востоке. Именно этих людей прежде всего имели в виду авторы писем. Проблема демократии в военное время, какой она виделась в конце 1915 г., состояла в том, что она продвигает таких руководителей, как Черчилль. Тогда как преимуществом немецкой системы казалось то, что она продвигает лидеров, подобных Людендорфу.

залатывать дыры, копать и обходиться временными мерами в итоге попросту уничтожит их? На Востоке люди действия, Гинденбург и Людендорф, Ленин и Троцкий, брали в свои руки свою судьбу и, возможно, судьбы всего мира. Тогда как на Западе политики-демократы ждали, чем все обернется. Автократы отвечали за свои поступки. А что могли предложить демократы?

ДВЕ РЕЧИ

Прежде всего у них было то, в чем демократические политики никогда не испытывают недостатка: у них было больше слов.

В начале 1918 г. внимание всего мира было приковано к белорусскому городу Брест-Литовску, где представители Германии и России вели переговоры об условиях выхода России из войны. У руководителей западных демократий было два главных опасения относительно того, чем могли завершиться эти дискуссии. Первое было связано с тем, что большевики уступят немцам слишком много, сместив тем самым баланс сил в военном конфликте. Второе — с тем, что большевики деморализуют демократическую военную мобилизацию, подвергнув ее осмеянию. Большевики презирали западную демократию, в которой видели бесспорную фикцию. Троцкий воспользовался мирными переговорами как поводом, чтобы обнародовать подробности тайных договоренностей между царским режимом и западными союзниками, надеясь показать, что все участники военных действий стоят друг друга: все они строили козни, лгали и стремились к приобретениям. «Разоблачая перед всем миром работу правящих классов, как она выражается в тайных документах дипломатии, мы обращаемся к трудящимся с тем призывом, который составляет неизменную основу

нашей внешней политики: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”»³.

В начале января 1918 г. «Правда» определилась с позицией относительно цели, заявленной Вильсоном, — сделать мир безопасным для демократии. По ее мнению, это была неумная шутка. Американское государство вступило в войну не ради «права и справедливости», но чтобы защитить «циничные интересы нью-йоркской биржи».

Господин Вильсон служит американской военной промышленности точно так же, как кайзер Вильгельм — металлургической и сталелитейной промышленности Германии. Свои речи он читает в образе квакера-республиканца, тогда как другой облакает их в туман прусской протестантско-абсолютистской фразеологии. Но по сути это одно и то же (цит. по: [Kennan, 1956, p. 263]).

Демократические лидеры Запада не волновались из-за того, что их население будет читать «Правду». Но они боялись дестабилизации как следствия заявлений большевиков, сказавших, по сути, что война была заговором против демократии. И в Лондоне, и в Вашингтоне было решено, что пришло время заново определить причины, по которым демократические страны участвовали в этой позорной войне. Они должны были опровергнуть мысль, будто за кулисами театра военных действий все ее участники одинаково дурны.

Первыми свои аргументы представили британцы. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж выступил 5 января с речью на собрании лидеров профсоюзов, на котором определил военные цели союзников. Он решительно отверг заявление большевиков, будто между двумя сторонами этой войны не было никакого нравственного различия.

³ *Trotsky L.* On the Publication of the Secret Treaties. 1917. November 22 // Soviet Documents on Foreign Policy. <www.marxists.org>.

Центральные державы стремились к территориальным приобретениям и материальной выгоде, которую должно было принести им насилие. Демократии же просто пытались себя защитить. Ллойд Джордж заявил, что «демократия в этой стране означает, что надо стоять до последнего за демократии Франции, Италии и других союзников» [Lloyd, 1936, p. 2522]. Следовательно, это была война демократической солидарности. Цель состояла в том, чтобы возместить ущерб, нанесенный им всем, а для этого требовалось компенсировать территориальные или материальные потери, вызванные войной. Следовало дать ясно понять, что ни одна демократия не может стать жертвой военной агрессии.

Речь Ллойда Джорджа была составлена так, чтобы показаться достаточно разумной: кто же против того, что демократия должна себя защищать? Следуя этой цели, он на словах подчеркнул приверженность идеям, которые обычно связывались с Вудро Вильсоном, в том числе национальному самоопределению и созданию международной лиги, которая должна будет заниматься урегулированием будущих конфликтов. Но Вильсон на это не повелся. Он, в свою очередь, зачитал 8 января перед Конгрессом речь с формулировкой целей войны, в которой перечислил 14 принципов демократического мира. Она была задумана в качестве отповеди и Ллойд Джорджу, и Ленину.

Речь Вильсона с «Четырнадцатью пунктами» завоевала репутацию одного из главных утверждений демократического идеализма в XX в. Однако нигде в этом списке предложений Вильсон на самом деле не использовал слово «демократия» (в отличие от Ллойда Джорджа, речь которого изобиловала этим термином). Ллойд Джордж хотел объяснить, почему демократия будет в безопасности только в том случае, если одержит в этой войне победу. Тогда как по Вильсону из этого следовало, что дело демо-

кратии слишком уж зависит от ее ближайших перспектив. Он, конечно, хотел выиграть войну. Но он не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, будто победа демократиями, — это то же самое, что победа демократии. Последняя должна быть достигнута позже, и на это потребуется время. Демократия представлялась дорогой к миру — Вильсон был уверен, что стабильные демократии никогда не пойдут друг на друга войной, — но это должна быть длинная дорога. В спешке ничего не выйдет.

Несмотря на изменения в своих политических позициях касательно войны, Вильсон всегда придерживался принципов политической философии, которые усвоил еще в те времена, когда изучал политику в качестве ученого. Он никогда не верил во внезапные моменты демократических преобразований. И, напротив, считал, что демократии нужно время, чтобы окрепнуть и воспользоваться своими глубинными силами. Он чувствовал, что американцы инстинктивно понимали это. Но большая часть остального мира это не понимала. В этом образе мысли был своего рода расовый перекося: получалось, что у англосаксов есть темперамент, необходимый для демократии, но более азартные народы увлекались ею и заходили слишком далеко. Американцы, несмотря на всю свою кипучую энергию, понимали, что демократия требует терпения. Вильсон, однако, не думал, что достаточно довериться тому, что он, подобно Токвилю, называл «демократическим провидением». Также он считал, что демократия нуждается в сильном руководителе. Непрерывное прогрессивное развитие американской демократии могло увязнуть в посредственности. И если азартным демократиям нужно было успокоиться, стабильным, напротив, нужно было пробудиться и раскрыть в себе свой истинный потенциал. Вильсон полагал, что для этой цели стоит использовать кризисные ситуации. В них он видел

возможность заново утвердить условия демократического прогресса⁴.

«Четырнадцать пунктов» вполне согласовывались с этой политической философией. Эта речь стала актом сильного лидера, который не хотел, чтобы его загнали в тупик. Сами эти 14 пунктов должны были определить рамочные условия мира, т.е. пространство, в котором демократия могла бы развиваться. Этого следовало достичь посредством «публичной дипломатии» (исключая секретные договоренности) (пункт 1), свободы мореплавания (пункт 2), свободной торговли (пункт 3), разоружения (пункт 4), национального самоопределения (пункт 5), урегулирования территориальных споров (пункты 6–13) и новой «ассоциации наций», которая в будущем будет заниматься урегулированием конфликтов (пункт 14)⁵. По сути, Вильсон пытался определить порог для нового мирового демократического порядка, который не был бы ни слишком высоким, ни слишком низким. Ленинский порог был, очевидно, слишком высоким: с позиции большевистского мировоззрения, демократической трансформации можно было достичь только за счет революционного разрыва со всем, что было

⁴ Подробное обсуждение позиции Вильсона по политике в кризисных ситуациях см.: [Schulzke, 2005, vol. 37, p. 262–285].

⁵ Идея ассоциации или «лиги» наций, которая бы служила гарантом будущему миру, витала в воздухе еще до вступления Америки в войну, и поклонники у нее в американской политике были на стороне как правых, так и левых (хотя обычно они представляли ее очень по-разному). Работа Томаса Нока [Knock, 1992] остается лучшим исследованием сложных политических истоков идеи Лиги наций, как ее представлял себе Вильсон. Также эта идея пересекалась, пусть и непредумышленно, с некоторыми схемами, разработанными в Вестминстере и предусматривавшими для Британской империи роль образца будущей международной безопасности (один из наиболее влиятельных вариантов этих схем был представлен выходцем из Южной Африки Яном Смэтсом). Об этой стороне истории см.: [Mazower, 2009].

раньше. Тогда как порог, заданный Ллойдом Джорджем, был слишком низким. Он слишком многое привязывал к самому факту победы и возмещения ущерба, причиненного ныне существующим демократическим странам. Вильсон же был заинтересован в демократических государствах, которым еще только предстояло возникнуть.

Какое-то время казалось, что этот план работает. Позиция Вильсона по долгосрочным перспективам тут же получила отклик. Она была тепло принята измученными войной народами Европы, которых привлекло заявленное в ней гибкое и компромиссное представление о том, что может быть после того, как беды кончатся. Она позволяла людям немного помечтать. Но она не повлияла на людей, которые первоначально ее спровоцировали, т.е. на русских, которые вели переговоры в Брест-Литовске. В конечном счете большевики сделали одну из тех вещей, которых боялись союзники. Они отказались воевать. Когда мирный договор 3 марта был наконец подписан, стало ясно, что немцы настояли на безоговорочной капитуляции и что Ленин подчинился их требованиям. Окончательный мирный договор означал для русских утрату огромных территорий, в том числе составлявших часть промышленной базы России. Центральные державы могли теперь сосредоточиться на Западе и начать сражение за окончательную победу⁶.

Для демократических стран это были очень плохие вести. Но нет худа без добра. Они означали, что больше нет

⁶ Как выяснилось, немцы никогда не были достаточно уверены в ситуации в России, чтобы оставить ее без присмотра; значительное число немецких войск осталось, чтобы «следить» за миром, который был по-прежнему очень неустойчивым и не исключал силовых столкновений. В этом отношении война продолжалась на двух фронтах, несмотря на кабальные условия Брест-Литовска: войска, которые могли бы определить исход событий на Западе, застряли на Востоке на весь 1918 г.

причин для другого опасения западных союзников, боявшихся того, что большевики подорвут готовность западного населения сражаться. Брест-Литовск показал со всей ясностью, почему демократии должны были продолжать борьбу — чтобы не оказаться жертвой такого мирного договора. Британский интеллектуал, социалистка Беатрис Уэбб через несколько дней после того, как были объявлены условия русской капитуляции, написала в своем дневнике: «Толстовцы [т.е. пацифисты] будут и дальше слепо и фанатично отстаивать мир любой ценой. Но люди, которые верят в демократическое равенство между людьми и расами, будут все больше за то, чтобы продолжать войну» [Webb, 1952, p. 115–116]. В тот день, когда в августе 1914 г. эта война была объявлена, Уэбб в своем дневнике призналась: «Самым лучшим исходом стало бы, если бы каждая страна потерпела полное поражение и ни одна не вышла бы победительницей. Это могло бы всех нас образумить» [Ibid., p. 26]. Чуть меньше, чем через четыре года, мир без победы стал роскошью, которую демократия больше не могла себе позволить.

Перспектива катастрофы дала демократическим странам новое чувство цели, которое помогло пренебречь некоторыми различиями, существовавшими между ними. Вильсон ускорил отправку американских войск и на время отложил свои мирные планы. Русская катастрофа прояснила, что именно стояло на кону. Однако за эту ясность пришлось заплатить определенную цену. Более тонкие различия были потеряны. Больше не было возможности проводить различие между краткосрочными целями демократии и ее долгосрочными перспективами. Выбирать между ними теперь не имело никакого смысла: если демократия не сможет продержаться ближайшее время, ее долгосрочные перспективы будут иметь чисто теоретическое значение. Кроме того, все сложнее было фиксировать еще одно различие — между поведением демократий и их вра-

гов, различие, на важности которого настаивал Ллойд Джордж. Это была тотальная война, в которой надо было добиться окончательной победы, а потому провести различие между участниками войны было сложно. Демократия все больше выглядела автократией, а, возможно, все было наоборот. Союзники и Центральные державы подражали друг другу, применяя цензуру, пропаганду и массовую мобилизацию населения.

Война стала состязанием не только между военными машинами, но и между машинами пиара. В значительной части борьба шла за то, чтобы убедить гражданских исполнить свой долг и приобрести военные облигации. В начале 1918 г. немцы выпустили восьмую серию облигаций, необходимую для финансирования военного наступления, которое, как заявил немецкому народу Людендорф, принесет им окончательную победу. Успешность военных займов, по словам Людендорфа, «докажет нашу волю к власти, которая является истоком всего». Американское казначейство ответило большой рекламной кампанией, убеждая американских граждан профинансировать войну, отдав на нее все возможные средства, что стало прелюдией к распродаже третьего выпуска «облигаций свободы» в апреле 1918 г. Комиссия по общественной информации (Committee on Public Information, CPI) (недавно созданное подразделение американского правительства, ведавшее пропагандой) цитировала в своих обращениях к американскому народу слова Людендорфа, заявляя, что нужно «доказать нашу волю к власти... Неудача с одним-единственным выпуском государственных облигацией для Америки станет хуже катастрофы на поле битвы» (цит. по: [Macdonald, 2003, p. 404]). Рекламщики из CPI лезли из кожи вон, всеми силами подчеркивая, что демократия должна быть такой же суровой, как и автократия, если она желает разгромить последнюю. «Я — Общественное Мнение, — было написано на одном плакате с

рекламой облигаций свободы. — Все меня боятся! Если у вас есть деньги, чтобы купить, но вы не покупаете, я сделаю так, что вам здесь будут не рады». Это как раз и была тирания большинства в стиле Токвиля, привлеченная государственными пропагандистами, для того чтобы большинство делало то, что ему говорят.

Такое сплавление двух конкурентных политических систем было замечено и с той, и с другой стороны. Рэндольф Борн, самый красноречивый критик Вильсона из числа американских левых, сетовал на то, что американская демократия германизировалась. К 1918 г. дядя Сэм стал еще одной версией идеализированного Vaterland. «Люди, участвующие в войне, — писал Борн, — снова стали в самом что ни на есть буквальном смысле послушными, почтительными, доверчивыми детьми, переполняемыми наивной верой в величайшую мудрость и всеисилие взрослого, который о них позаботится» [Bourne, 1992, p. 364]. Это, по его мнению, была уже не демократия. Это был паллиатив, созданный для того, чтобы люди молчали, пока кто-то другой решает за них их судьбы.

В то же время в Германии романист Томас Манн жаловался на то, что немецкое государство американизируется. Оно превращалось в еще один массовый политический режим, со всеми прилагающимися к нему хитростями и глупостями. «Только массовая политика, демократическая политика, — писал Манн в начале 1918 г., — т.е. политика, которой мало дела до высокой интеллектуальной жизни нации, возможна сегодня, — вот что поняло правительство немецкого Рейха за время войны» [Mann, 1985, p. 180]. Манн с презрением относился к идее о некоем будущем «демократическом мире», который он считал очевидным абсурдом. «Народное правление гарантирует мир и справедливость? — спрашивал он с насмешкой. — Самая верная защита мира — это “демократический контроль?” Хотел бы я знать... Разве вы не видели, как в августе 1914 г.

толпа в Лондоне плясала вокруг колонны Нельсона?.. Ответственность!» [Ibid., p. 271]. И в то же время он не сомневался в том, что демократия станет главным трендом будущего. Но что она значит? «Аферы, скандалы, политико-символические конфликты былых времен, величественные кризисы, которые воспаляют бюргера, пускающегося то в один пляс, то в другой, каждый год новый, — вот какой она у нас будет, вот как мы будем жить каждый день» [Ibid., p. 223]. Демократия станет победителем в этой войне, но лишь потому, что война превратила политику в огромную пустую головоломку.

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ

Одну вещь Манн считал невозможной — что Германия может действительно проиграть эту войну. Демократия в конечном счете должна одержать победу, но не на поле битвы. Как и для многих немецких националистов, на начало 1918 г. худшим сценарием для Манна был бы какой-нибудь мирный договор, сварганенный на основе дурацких 14 пунктов Вильсона. После капитуляции России возможность военного поражения стала невыносимой. Она казалась как никогда далекой, и 21 марта Людендорф начал весеннее наступление. Впервые за всю войну у Центральных держав на западном фронте было больше дивизий, чем у союзников. Эта концентрация сил позволила немецкой армии прорвать британские и французские линии. Союзники несли серьезные потери в боях, которые были кровавыми даже по меркам этого ужасного конфликта. Несколько недель ситуация оставалась настолько отчаянной, что британский фельдмаршал Дуглас Хейг отдал знаменитый приказ: «Стоя спиной к стене и веря в праведность нашего дела, каждый из нас должен драться до последнего». Культ всезнающего Людендорфа вырос еще больше. Издание «The New Republic» сказал

СЕРИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
основана в 2009 г. Валерием Анашвили

В серии вышли: <id.hse.ru/books/series/25279520>

Научное издание

Дэвид Рансимен
ЛОВУШКА УВЕРЕННОСТИ
ИСТОРИЯ КРИЗИСА ДЕМОКРАТИИ
ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Заведующая книжной редакцией ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА
Редактор МАРИНА КОВАЛЕВА
Верстка: ОЛЬГА БЫСТРОВА
Корректор ВАЛЕРИЯ КАМЕНЕВА

Дизайн обложек серии: ПОЛИНА ЛАУФЕР (ABCdesign)
Дизайн блока серии: СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел.: (495) 772-95-90 доб. 15285

Подписано в печать 09.11.2018. Формат 60×90/16
Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 17,8. Печать струйная ролевая
Тираж 1000 экз. Изд. № 2072. Заказ №

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8 (499) 270-73-59